

В. В. Розанов

Всеславянское
издательство

М. М. Спасовский

В. В. РОЗАНОВ
в последние годы своей жизни

Среди неопубликованных
писем и рукописей

Издание второе, — исправленное
и значительно дополненное

Всеславянское Издательство
Нью Йорк
1968

V. V. ROZANOV

IN THE LAST YEARS OF HIS LIFE

by

M. M. SPASSOVSKY

Library of Congress Catalog Card Number: 68-25829

Published by ALL-SLAVIC PUBLISHING HOUSE, Inc.
New York
1968

В. В. Розанов в последние годы своей жизни

Все книги издания Всеславянского Издательства выходят при благосклонном участии и поддержке князя С. С. Белосельского-Белозерского

„Россия испытала такой погром и разгром самое себя, перед которым бледнеют все бедствия, вынесенные нами в нашей многотрудной и терпеливой истории".

В. В. Розанов.

СОДЕРЖАНИЕ.

Стр.

ПРЕДИСЛОВИЕ ко 2-му изданию. 9

Гл. I-ая: — Кто такой Розанов? — Захудалый мещанин, педагог журналист, — гениальный литератор, мыслитель и провидец. — Отношение к нему „левых" и „правых". — Почему называют Розанова „путанным". 15

Гл. 2-ая: — Мое знакомство с Розановым через В. В. Андреева — основателя и дирижера Великорусского оркестра — Журнал „Вешние Воды". — Розанов редактирует в нем отдел — „Из жизни, исканий и наблюдений студенчества". 33

Гл. 3-я: — „Примечания" Розанова к студенческим письмам. — Характер и значение „Примечаний". 47

Гл. 4-ая: — Письма Розанова от 1918 года. — Жизнь Розанова в Сергиевом Посаде, — нищета и голод. — Характеристика о. Павла Флоренского. — Нигде не опубликованные статьи Розанова: — „рассыпавшиеся Чичиковы" (О мертвых душах российских времен Государственной Думы), — „С печальным Праздником" (Св. Пасха 1918 года). — Студенческие Сборники и передовицы Розанова. — Характеристика Розановым Э. Ф. Голлербаха. Любови Мурахиной и о. Павла Флоренского. 55

Гл. 5-ая: — Монография Розанова „Об античных монетах", — „Как и почему пришло на ум собирать древние монеты". — Осязание монеты историческим взглядом — Археология, Нумизматика, История. 87

Гл. 6-ая: — Мимоходом о себе. 123

Гл. 7-ая: — Многогранность Розановского мировосприятия: — „О нашей общественности", — „О российской демократии", — „О революции", — „О Православном Царе", — „О подразумеваемом смысле нашей Монархии", — „О Церкви", — „О евреях".

Критики Розанова. — Христианская кончина Розанова. 129

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Отсутствие на рынке книг В. В. Розанова показывает сколь велик был проявлен своевременно интерес к трудам этого великого русского патриота и философа. Некоторые его отдельные книги стали вообще библиографической редкостью.

Наше издательство имеет в виду когда-то переиздать полное собрание сочинений В. В. Розанова. К сожалению в настоящий момент, по техническим и финансовым обстоятельствам, мы этого сделать не можем, хотя мы и не отбрасываем полностью эту идею.

А сейчас предоставляем слово известному и прекрасному публицисту Михаилу Михайловичу Спасовскому и предлагаем вниманию читателей 2-ое дополненное издание его труда — „В. В. Розанов в последние годы своей жизни".

ПРЕДИСЛОВИЕ КО 2-МУ ИЗДАНИЮ

Впервые мои воспоминания о В. В. Розанове были выпущены в свет „Русским Национальным Издательством" в Берлине в 1939 году. Выход этой книги был сейчас же отмечен русской парижской эмигрантской печатью. В частности, популярная в то время парижская газета „Возрождение" в № 4185 от 26 мая 1939 года писала в отделе „Русские книги за Рубежом":

> — „Недавно основавшееся в Берлине Национальное Издательство" выпустило интереснейшую книгу воспоминаний М. Спасовского об известном писателе и философе В. В. Розанове: — „Розанов в последние годы своей жизни".

А две недели спустя известный критик, ныне покойный Юрий Мандельштам посвящает в этой же газете от 9 июня свою обширную статью в 300 строк — под заглавием „Неизданные письма и статьи Розанова", в которой подробно анализирует

мою книгу и приводит из нее крупные цитаты, наиболее ярко характеризующие Розанова, „умершего от революции", как пишет Ю. Мандельштам.

Из этой статьи мы приводим один небольшой отрывок, наглядно и убедительно рисующий Розанова, как „одного из самых замечательных сынов России".

Вот этот отрывок (текстуально):

— „Незаменимое достоинство книги — то, что в ней полностью приводятся неизданные до сих пор тексты Розанова. Несколько статей — предназначенных для „Вешних Вод" и невышедшей газеты, Монография об античных монетах, предоставленная Розановым в распоряжение редакции тех же „Вешних Вод" и, наконец, письма последнего периода. Тексты, очень характерные для автора „Уединенного" и „Опавших листьев", в которых полностью оживают не только розановские темы, но его глубина и острота, его столь взволнованный и волнующий тон, его своеобразная манера, вносящая личное, почти что интимное отношение в самые, казалось бы, абстрактные вопросы. Этот дар не только принимать важное близко к сердцу, но делать его своим, домашним — в высшей степени розановское свойство. Шестов где-то упомянул слова Розанова о том, что Бог

ему так же близок, как теплые фланелевые штаны. Бог был близок, действительно, не только душе, но и телу Розанова. Поэтому религия и сочеталась для него со всем — с политикой, с литературой, с нумизматикой. Поэтому философия и жизнь Розанова и впрямь были одним, неделимым целым. Революция, явившаяся ударом по вере и убеждениям Розанова, не случайно ударила и по его здоровью, по его жизненным силам. Розанов в полном смысле слова умер от революции. Предсмертные его письма — одно из самых страшных свидетельств о голгофе России в лице одного из самых замечательных ее сынов"...

А. М. Ренников в своей книге „Минувшие дни" посвящает Розанову 16-ть страниц, но все эти чрезвычайно интересные страницы описывают ДО-революционного Розанова, как сотрудника суворинского „Нового Времени" и других влиятельнейших газет Императорской России, и не показывает нам Розанова, умирающего от революции, в нищете и голоде.

А. М. Ренников пишет на 176-ой странице своей вышеупомянутой книги:

— „В сущности, определенного стройного мировоззрения у Розанова не было. Было только чуткое иррациональное мироощу-

щение. Его книга „О понимании", логически излагавшая план возможного познания мира путем изучения первоначального строения ума, не внесла ничего значительного в историю классической гносеологии. Но отдельные его прорывы в суть бытия бывали иногда гениальны. Он не умел осаждать тайну мира систематически, упорно, хладнокровно, как это делали прославленные западные философы при помощи дальнобойных орудий своего тяжеловесного мышления. Но ему замечательно удавались темпераментные набеги на истину, в результате чего брал он в плен и глубокие мысли и блестящие парадоксы"...

Пусть определенного стройного мировоззрения у Розанова не было, — но у него был исключительного порядка дар ОЩУЩАТЬ, какими то путями ЧУВСТВОВАТЬ окружающий его мир во всех его великих и малых делах и людях и делать свои как-бы мимолетные выводы — прозрения „сути вещей", излагая эти выводы неподражаемым, своим РОЗАНОВСКИМ языком, — наглядно, выразительно до очевидности и просто до осязания. ГЕНИАЛЬНО, — хочется и нужно сказать вместе с другими.

О Розанове писалось, да и теперь еще пишется много. И пишется заслуженно. Розанов достоин

серьёзнейшего внимания, — до того необыкновенен был этот вполне самоцветный и вполне русский, пусть мятущийся, но по своему глубоко религиозный мыслитель. Наш труд посвящен последним дням его жизни, — последним вспышкам его литературно-политической интуиции, где провиденциальное осознание сегодняшнего дня достигло у Розанова глубин прозрения завтрашнего дня в его исторической перспективе.

— „ВСЕ НАДО НАЧИНАТЬ СНАЧАЛА", — констатировал Розанов, УВИДЕВ суть русской революции 17-го года в первые ее восемнадцать месяцев. Он был, кажется, тогда единственным человеком в России, который понял все, — и то, почему „расползлась" Россия, духовно и политически развалилась, — и то, до каких низин „грязный и вонючий разночинец" ее затопчет в кровавом омуте своего все-отрицания.

I.

Василий Васильевич Розанов умер в январе 1919 года, но страсти вокруг него, борьба „за Розанова" и „против Розанова" не утихли до сих пор и, пожалуй, никогда не утихнут среди тех, кто так или иначе близок к религиозно-философским течениям мысли, — вообще к пытливой мысли о неумирающих вопросах.

Розанов это — фельетонист и газетный обозреватель, философ и богослов, исследователь древних вер и культов, прежде всего иудаизма и религиозной истории Египта. Розанов это — литератор, публицист и литературный критик, это — создатель нового стиля и новой формы в литературе, это — предтеча француза Марселя Пруста и ирландца Джемса Джойса, когда словами говорит уже не разум, а сердце и даже сама душа, — когда нельзя читать вслух или слушать автора из чужих уст, когда надо самому читать его и обязательно видеть его строчки, — до того у Розанова

важна каждая мелочь вроде ковычек, скобок, запятых, курсивных и жирных слов и так или иначе оттененных выражений.

Некоторые розановские образы, выраженные писателем в двух-трех абзацах, как будто бегло и как будто небрежно, стоят целого исследования, вызывают вдумчивые размышления и удивляют глубиною прозрения, краткостью и яркостью изложения, большим содержанием в малых словах. А некоторые его зарисовки вот такими скупыми, но образными словами производят такое же впечатление, как огромная картина великого мастера-художника, где вы видите все и потрясены всем.

Это особенно ярко и осязательно чувствуется по небольшой статье Розанова о картине И. Е. Репина „Заседание Государственного Совета", помещенной в его книге „Когда начальство ушло". В этой статье, мимоходом написанной, в невсегда законченных мыслях и даже фразах перед читателем встает жуткая перспектива всех начал и причин, почему Россия должна была докатиться в 1905 году до Цусимы, до Октябрьского манифеста, до Государственной Думы, до вынужденного и ненужного участия в европейской войне, до революции 17-го года, до большевизма... А ведь Розанов в этой своей статье совсем не о том говорит. Это — одна из граней гениальности Розанова.

Розанов это — религиозный мыслитель, толкователь Библии и иудаизма, это — борец с казенным христианством и с казенным черничеством. Это — возродитель древнего фаллического культа, тонкий аналитик сексуального вопроса в плоскости исканий божественной сущности мира...

И никак и нисколько не приходится удивляться кипению тех страстей вокруг Розанова, которое продолжается до сих пор и которое едва-ли когда уляжется. Одни приходят от Розанова в восторг, другие отплевываются от него. Но многие-ли имели возможность и силу чутко и вдумчиво прочесть такие книги Розанова, как, например, „Темный Лик", „Семейный вопрос в России", „Из восточных мотивов", „В мире неясного и нерешенного", „У церковных стен", „Легенда о Великом Инквизиторе", „Русская Церковь", „В соседстве Содома", „У истоков Израиля", „Люди лунного света", „Уединенное" и его два короба „Опавших листьев"? Те немногие, которые вместили в себя всю эту богато сверкающую гамму розановских мыслей, образов и зарисовок, поймут всю многогранность Розанова, — поймут, что Розанов шел своей собственной дорогой, только ему одному свойственной и только ему одному под силу, — что гений Розанова несравним ни с кем по своему широкому своеобразию, по своему удивительному подходу к миру и

к жизни мира, по своему исключительному проникновению в нутро мира, восприятию этого нутра и отражению его в словах и чувствах, — поймут, что Розанова нельзя мерить аршином маленьких людей.

О Розанове можно писать книги и их написано не мало, но их будет написано еще больше. Розанов — тема необъятная и неохватная. Тема о Розанове далеко не только для философов и богословов. Розанов, не помню сейчас где, писал, что хотя он был человеком с философским образованием и выпустил трактат „О понимании", но считает, что лучшая из лучших его книг „Уединенное" написана так просто и читается так легко, что ее поймут даже дети малые.

И это правда. Тяжелые рассуждения западных доктринеров, их мешкотные, неповоротливые, где-то и как-то копошащиеся исследования в ворохах всегда нудных и безмерно скучных поисков „разгадки бытия" были органически чужды Розанову. Всех этих „аналитиков", „догматиков" и, выражаясь современным языком, „комментаторов" общественной жизни, создателей и „апостолов" текущих философских и особенно политических доктрин Розанов называл утопистами, а то и просто онанистами. Эти теоретики вызывали в нем отвращение, они возмущали его плоскостью своего мышления, своего подхода к миру, к пониманию ими

„подспудных законов" жизни. В партийных людях он видел „органическую узость" отсутствие в них духовной глубины, кривое восприятие ими мира и человека и считал их „фактическими мертвецами", трупный яд которых смертелен для живых и здоровых и государственно опасен для народов земли...

Розанов это — „нумизмат, обыкновенный обыватель и гениальный от рождения мыслитель", как сказал ему и о нем другой замечательный русский человек, тоже мыслитель первой величины и тоже мало кому известный большой богослов-философ, ныне покойный протоиерей Павел Александрович Флоренский, профессор Духовной Академии, разоблачивший ересь учения о св. Софии, — автор книги „Столп и утверждение Истины", на изучение которой не жалко посвятить несколько лет своей жизни.

Розанов не любил ни писать, ни говорить о своем происхождении, — не о чем было писать и нечего было рассказывать. Родился он 20 апреля 1856 года в убогой, очень бедной мещанской семье, в уездном городке Ветлуга, Костромской губернии. Гимназическое образование получил в Симбирске и Нижнем Новгороде, а затем окончил курс историко-филологического факультета Московского Университета.

Единственно чем он гордился это своим чисто русским, как он выражался, КОРЕННЫМ происхождением. Под этим выражением „коренным" насколько можно было понять Розанова, он имел в виду не только чистоту своей славянской крови и не только свою низовую генеологию, но и свою здоровую, природную и никак и ничем неповрежденную, как теперь пишут, РУССКОСТЬ.

По профессии Розанов был преподавателем словесности, истории и географии в Елецкой гимназии и разночинцем в провинциальном обществе, — скромный и незаметный. В 1893 году Розанов попадает в Петербург чиновником Государственного Контроля, прослужив по учебному ведомству всего тринадцать лет.

В русскую литературу он вошел незванным и совершенно неожиданным гостем. Остающееся от педагогической деятельности время он посвящал „пописыванию" в разные издания, но это „пописывание", это его первые литературные шаги ничем не отличали Розанова из рядовой „пишущей братии".

В 1898 и 99 годах он опубликовал даже две свои книги в скромном издании П. Перцова. Одна представляла сборник статей Розанова на педагогические темы, другая — „Литературные очерки". Обе книги были „как все", ничего особенного, умно и

толково написанные и только. Ничего „розановского", как мы теперь понимаем это, в них не было.

Не сразу Розанов выявил себя известным нам Розановым. Семена его исключительного дарования долго лежали „под спудом" как бы несуществующими, переживая медлительный процесс брожения и всхождения. Это был период поистине мистический, — не то чтобы „исканий" и расчетливых размышлений и поисков, куда бы и как бы приложить свои силы. Это был момент созревания бутона неведомого цветка и едва-ли сам Розанов сознавал, ЧТО именно выйдет из этого бутона. Ни темы своей жизни, ни канвы своего творчества, ни стиля своего языка, ни манеры подхода к миру и к людям, — вообще ничего о себе в тот период Розанов не знал, — кто он, „пописыватель" или гениальный мыслитель и негаданной силы литератор.

И только в самых первых годах XX-го века, уже на склоне своих лет, когда его фельетоны стали появляться на страницах влиятельнейшей петербургской газеты „Новое Время" (А. С. Суворина) бутон неведомого цветка начал распускаться, — облик подлинного Розанова быстро формировался в явление исключительного порядка. Известность Розанова стала стремительно расти и привлекать у одних благожелательное внимание, у других настороженное.

Газета „Новое Время" повсеместно в России читалась высшими представителями правительства, чиновниками всех министерств и ведомст,иерархами Церкви, военными кругами и Гвардией и вообще всеми монархически настроеннными кругами русского общества. Газета эта в своем политическом кредо стояла на страже государственных интересов Исторической России.

И посему левой российской интеллигенцией называлась „консервативной" газетой, не идущей в ногу с „прогрессивной" политической мыслью, — „косной" и „отсталой". Эти круги встретили появление Розанова, выплывающего на большую волну, сперва сдержанно и крайне подозрительно, а затем вскоре открыто возненавидели его. Розанов оказался не их лагеря, а когда некоторые статьи Розанова появились и на страницах так называемой „либеральной" печати, эти круги стали ругать его „двурушником" и, наконец, „заклеймили" его „Иудушкой".

Левые круги, меряя все и всех шаблонной меркой, не могли разглядеть Розанова и понять, что широкий горизонт умственных озарений Розанова не укладывался ни в какие партийные шоры. Розанов по природе своей был вне всяких шор, он просто не умещался в них и не мог уместиться в них никак, — он видел, то, чего они не видели, и понимал то, что им было органически не доступно. Они

требовали „ответ по шпаргалке", „бег в крепкой узде", печать „передового борца", а Розанов бросал им „слова по существу", открывал им такие бездны в их „больных вопросах" и в ими же надуманных теориях „социального благоустроения", что г-дам „прогрессистам" ничего не оставалось делать как или ругать Розанова или замалчивать его и вообще отмалчиваться. Они так и поступали.

Спорить с Розановым, в серьёзном смысле этого слова, г-да „прогрессисты" не могли. Они выступали с палками, а Розанов бил их пулеметом. Борющиеся стороны были разного калибра. И врагу, умственно слабому, но сильному своим напором, своей организованностью и своими деньгами, оставался лишь один путь, — улюлюкания и „запрета на Розанова". Но как замолчать того, о котором говорила вся читающая Россия, без мнения которого не обходился ни один религиозно-философский спор, с голосом которого считалась и голоса которого искала вся умственно чуткая **русская** элита!...

И Разонов шел своим путем, не обращая никакого внимания на это улюлюкание и даже не замечая его. Травля со стороны левых не мешала Розанову расцветать, с каждым годом увеличивая длинную вереницу своих искренних друзей, почитателей и поклонников. Правда, и в крайне правом лагере были скептики, отвергающие Розанова, упрекавшие

его в „заумничаньи", в „неуместном пересоле", в „странной гибкости" и даже не то чтобы в безбожии, а в каком-то „кощунственном язычестве".

Но все это никак не колебало поступь Розанова. Он знал, что внутренно он прав, что во всей этой возни вокруг его имени много вздора, клеветы, интриг, зависти и страха. Завидовали потому, что рядом с ним никак нельзя было встать „в одну шеренгу". Как всякого гениального писателя, Розанова нельзя было имитировать, под него нельзя было подделаться и его нельзя было подделать и подражать ему было невозможно. Розанов был и остается явлением в своем роде единственным и неповторимым.

Страх у левых перед Розановым был обоснован. Если бы влияние его и понимание его ширилось и углублялось по периферии всех русских общественно-политических кругов, то революционная акция по расшатыванию государственных устоев Исторической России не только приостановилась бы, но стала бы сокращаться. Поэтому злоба против Розанова и поношение его вполне понятны, — как понятно и то, что эта стихия черни, умственно и морально урезанная, болталась где-то у ног и подногами Розанова, вызывая у него лишь досаду и брезгливость. Он эту стихию называл (вернее, — ругал) одним словом — „социал-демократией", желая подчеркнуть этим этическое ничтожество

этой стихии, ее политическое убожество и невежество, — „передовое невежество", по его выражению. Насколько Розанов был „вопиюще" прав, это теперь хорошо и наглядно известно всем.

Что пророка и провидца всегда травили и даже побивали камнями — история обычная. Так было и так, очевидно, будет, ибо чернь есть чернь.

У нас так было с Гоголем, с Достоевским, с Константином Леонтьевым. Так случилось и с Василием Васильевичем Розановым.

***

Но время шло. И вчерашние враги Розанова, наиболее совестливые, умственно наиболее трезвые и духовно наиболее свободные мало-по-малу убеждались, насколько глубоко подходил Розанов к шуму земли и насколько он верно хлестал своим словом тех, „вонючих разночинцев", которые подрубали русские корни, чтобы заменить их ядовитой паутиной „осуществленного социализма".

В частности, наиболее отрезвевшими были Алексей Ремизов, Зинаида Гиппиус, Бердяев... Все они в конечном итоге своего „жизненного опыта" пришли к одному выводу, к заключению о том, что Розанов был „огромное явление в русской литературе", что он был „замечательным и оригинальным мыслителем", что „его не дооценили в свое время" и „плохо понимали". При этом Бердяев то-ли в

шутку, то-ли с вдумчивой мыслью как-то назвал Розанова „гениальным обывателем".

Да, Розанов был и обывателем, но и обывателем он был особенным и главная особенность его сказывалась прежде всего в искренности и честности, в его простоте и доступности. И в наивности до порою непонятной вроде как-бы юродивости. Какой другой писатель и философ мог так говорить о себе при жизни, как говорил и писал про себя Розанов в своих „Опавших листьях":

— Во мне ужасно много гниды, копошащейся около корней волос. Невидимое и отвратительное. Отчасти отсюда и глубина моя...

И тут же рядом Розанов пишет:

— Люблю чай, люблю положить заплаточку на папиросу (где прорвалась). Люблю жену, свой сад (на даче).

— Хочу ли я играть роль? Ни малейшего желания (стр. 507). Хочу-ли я, чтобы очень распространилось мое учение? Нет! Вышло бы большое волнение, а я так люблю покой... и закат вечера, и тихий вечерний звон (там же, стр. 95).

Запись в Сергиевом Посаде от 9-го мая 1918 года. Великий Четверток:

— Только что простоял „со свечечками". И опять пережил умиление.

Обывательское все это?

— Ну, конечно, обывательское, — скажет чи-

татель, но в голосе его послышится какая-то осечка.

Все это обывательское, — верно. Но написано все это не по обывательски. Простоял „со свечечками"... Всего то здесь два с половиной слова, а какая гамма впечатлений! Вот эта гамма впечатлений проходит через все литературное творчество Розанова, — гениальное творчество, „неудобное" для русских недругов, но близкое и дорогое русскому сердцу.

Только не надо смотреть на Розанова по обывательски. Трудно это передать словами, — Розанова надо чувствовать.

***

Тут же, сейчас же хочется, сопоставить эти розановские „свечечки" и это розановское умиление от Четверговой службы с фразой Феофила, впоследствии архиепископа, а тогда инспектора Петербургской Духовной Академии, сказанной им в объяснение, почему он вышел из комнаты, завидев Розанова:

— Оттого ушел, что Розанов пришел, а он — Дьявол!

Но дальше.

Такие вопросы, как

— Был-ли Розанов церковным человеком?

Или

— Был-ли Розанов антисемитом?

Или

— Был-ли Розанов монархистом?

Такие вопросы о Розанове бесполезно, да и нельзя было задавать, их в серьёзных кругах и не задавали. Не умещается Розанов в рамках вот таких обывательских вопросов, ибо такие вопросы обычно задавались, чтобы сопоставить с кем-то и определить то или иное лицо, — чтобы или укорить и обличить или похвалить и порекомендовать, — вообще как-то охарактеризовать. А с кем Розанова можно было сопоставить, коли он был единственным по своему глубокому и многогранному своеобразию?! Чтобы „легко и просто" определить Розанова с обычной точки зрения, нужно быть или предвзятым, или органически узким, или вообще верхоглядом, не отдающим отчета в своей болтавне.

Так обычно и шло определение Розанова. Когда вышла его книга „Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови", еврейские круги с яростью „заклеймили" его антисемитом, варваром и мракобесом, но не посмели назвать лжецом, а Розанов в этой книге никакой пропаганды против евреев не вел, — он вскрывал в ней отношение евреев к крови в мистическом плане обрядовой стороны, также как это он делал, копаясь в „египетских пирамидах". Евреев возмущало, — зачем Розанов вскрывал это отношение и шел в своем анали-

зе так далеко. „Какое ему дело до наших обрядов?"...

Когда же вышли такие розановские книги, как „Когда начальство ушло", „Темный Лик" и „Люди лунного света", те же еврейские круги и та же „передовая" печать считали Розанова если не своим, то своим „без пяти минут", — он „вскрывал пороки царского правительства", он „обнажал темные стороны омещанившегося христианства", он „уличал черноризцев в праздности и тунеятстве"... Тогда как на самом деле ни того, ни другого, ни третьего в этих книгах Розанова не было, но толковать их можно было и вкривь и вкось, прилаживая те или иные отдельные мысли Розанова к тому или иному трафарету или к тому или иному политическому коленцу или „философскому" выверту розановских „обозревателей".

Тоже и по монархической линии. Книги „Когда начальство ушло" и „Люди лунного свет", выпущенные Розановым в 1905-6 годах в Париже, очень не нравились петербургским монархистам. Они укоряли и даже обвиняли Розанова в „нелойяльности", в „чрезмерном вольнодумстве", в „бесцеремонном нарушении и даже попрании верноподданнических чувств", чуть-ли ни в измене „Трону и Церкви". И в тоже время, „под секретом и втайне", учились „монархической мудрости" по розановской книге „О подразумеваемом смысле нашей Монархии", вы-

пущенной в 1912 году, в которой особенно штудировали VII-ую главу (стр. 48-54).

В этой книге Розанов освещал глубинную сущность монархического начала вообще и Русской Монархии в частности так, как никто не освещал до него и после него. Наиболее яркие, характерные и показательные выдержки из этой книги читатель найдет дальше.

Эта одновременная „любовь" и „ненависть" к Розанову, тяга к нему и отталкивание от него, приятие его и его отвержение лишь повторно показывают, что нельзя ценить или не ценить бриллиант по его тому или другому одному лучу. Розанов поистине был велик и поэтому к его творчеству приходится и нужно подходить с величайшей осторожностью — не в смысле боязни принять „гнилушку за породу", а в смысле уразумения его.

Разонов честен до конца и во всем. И если что-то в нем нам не нравится, кажется „странным" и „неудобоваримым", то исключительно потому, что мы еще „не охватили предмета". Умные враги Розанова понимали силу глубины розановских озарений и его провидений и поэтому молчали о нем „до крайнего случая", видя не только бесполезность, но и вред и даже комизм спора с ним. Что бы, как бы и где бы Розанов ни писал, конечные выводы и утверждения Розанова никак не совпадали с „про-

граммными установками" его врагов, — Розанов твердо шел и к Богу и к Царю, но он шел не нашими путями. У него был свой аршин, свои весы и свой ланцет, чего мы часто не учитываем и потому до сих пор называем его „путанным".

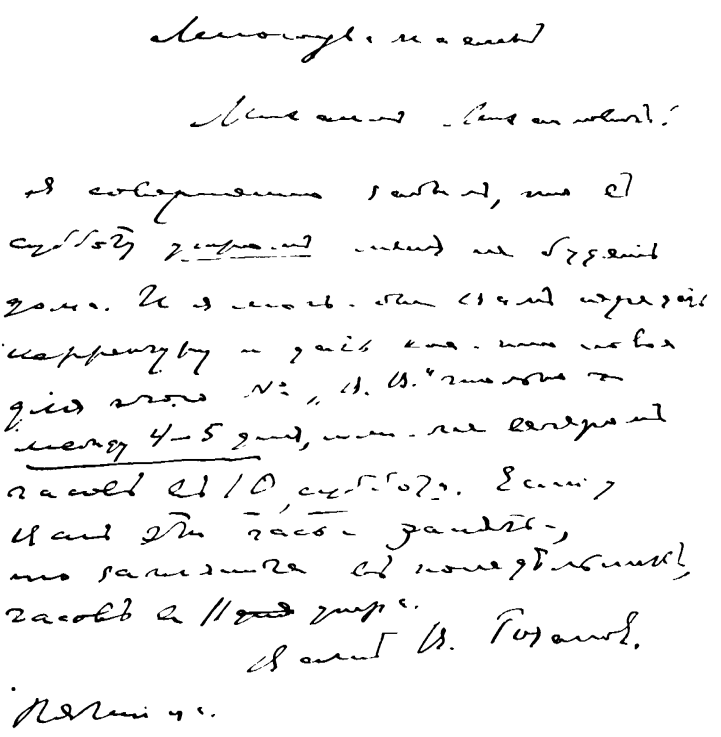
Путанного у Розанова и в Розанове ничего нет. Он не прыгал по кочкам, не метался по боковым тропинкам, никогда не делал никаких заячьих петель. Перед ним, в его нутре развертывалась ясная и прямая дорога и он в каком то смысле как сомнамбула даже не шел, а несся по этой дороге, видя и рассказывая нам то и так, что не всегда укладывалось в нашем мозгу и не всегда бывает близко нашему осознанию.

Новое Время

РЕДАКЦІЯ

Петроградъ, Эртелевъ, 6.

—o—



К главе 4-й. письма Розанова

2.

Познакомил меня с Розановым основатель и дирижер Великорусского оркестра, солист Его Величества Василий Васильевич Андреев, в то время очень популярный в Петербурге человек, как „фанатик великорусского дела" и горящий спорщик с Глазуновым — композитором, профессором и директором Петербургской Консерватории, на тему о том, может-ли Великорусский оркестр подняться на высоту Симфонического. Глазунов с гневом отрицал всякую возможность „поднять балалайку" до совершенства скрипки. „Нелепостью звучит, — утверждал Глазунов, — желание струнный балалаечный оркестр сделать симфоническим!"

В ответ на это глазуновское „нет!" Андреев делал чудеса со своим оркестром в 70 человек. В этот оркестр входили: балалайки (Прима, секунда, альт, бас и контр-бас), домры (Пикколо, малая, альтовая, тенор, бас и контр-бас), гусли, (диатонические и хроматические), свирели и жалейка (или „брелка"

— пастуший рожок), бубен, тарелки, треугольник, литавры (или „накры" — старинное название литавр, которые ранее были глиняные) и колокольчики.

Андреев давал в Петербурге не более одного-двух концертов в год и часто выезжал со своим оркестром в турнэ по Европе и в Северную Америку. Все его выступления сопровождались исключительным успехом, — он исполнял очень сложные вещи, преподнося их слушателям во всей полноте их тончайших ньюансов.

Жил в то время Андреев на Мойке 64, недалеко от Невского проспекта и занимал во втором этаже большую угловую квартиру. Громадная угловая гостинная представляла собою на редкость интересный музей, все стены и изящные старинные столы которой были увешаны и заставлены подарками его заграничных и российских поклонников. Тут были и картины голландских, бельгийских, французских, русских художников, и коллекция лондонских, порой забавнейших курительных трубок, и красочный костюм индейского вождя-воина с полным его вооружением, не менее как по дюжине севрских тарелок, чашечек и кружевных вазочек тончайшей работы, и массивные увражи in folio с изумительными гравюрами и переплетами, — какие то ткани, какие то редкостные и древние без-

делушки... Особо, в простенке между двух окон, выходящих на Мойку, стоял из краснаго дерева шкаф с зеркальными стеклами, за которыми на полочках лежали подарки Высочайших Особ. Выделялся подарок Государя — дирижерская палочка из какого-то светлого дерева, на одном конце которой была из кованного золота Императорская корона с крупным бриллиантом голубой воды.

Андреев умер в конце 1919 года, вслед за Розановым, на 62-ом году своей жизни. Его гроб выносил Шаляпин с другими близкими друзьями покойного. Похоронен Андреев в Александро-Невской Лавре. Судьба его музея неизвестна.

Памятью о нем у автора этих строк сохранился единственный экземпляр его „Справочника или краткого руководства для оборудования Великорусского оркестра", с рисунками и чертежами, изданного „Вешними Водами" в 1916 году. Первое издание этого Справочника было одобрено департаментом Министерства Народного Просвещения в библиотеки высших начальных школ.

***

Познакомился я с Разоновым осенью 1913 года, будучи студентом Императорского С.-Петербургского Университета и одновременно редактором-издателем ежемесячного литературно-художественного студенческого журнала „Вешния Воды", деви-

зом которого было Пушкинское — „Дорогою свободною или, куда да влечёт тебя свободный ум!".

„Вешния Воды" начали свое существование со сборничков, которые стали выходить с ранней осени в 1911 году тиражом в одну тысячу экземпляров, объемом в 60-70 страниц. В них помещались передовицы, статьи, вернее, статейки, обзоры, рассказы, стихотворения, рисунки в виде „свободных композиций", виньетки разные, — всё это было произведением студентов, главным образом, Петербургского Университета и студенток Высших Бестужевских и Раевских курсов и учащейся молодежи из Академии Художеств и Школы Об-ва Поощрения Художеств, директором которой был в то время К. Н. Рерих, господин довольно суровый, но терпеливо относящийся к сотрудничеству учеников своей Школы в „Вешних Водах".

Образовался этот кружок „начинающих" както буквально „милостью Божией", самотёком, за стаканом чая, путём знакомства в Университете и на вечеринках. И мысль, почему бы ни попробывать печатать свои „произведения", возникла тоже самотёком по линии юного задора и „дерзаний". Осуществление этой мысли выпало на мою долю, ибо от лекций и экзаменов у меня оставалось ещё время. И энергии девать было некуда.

Политическое кредо наших сборничков было самое простое, — РУССКОЕ, пытливое и ищущее, вне всякого партийного политиканства, вне какой бы то ни было демагогии. Выходили сборнички случайно, раз пять в год, по мере накопления материалов и „рессурсов". Перед выпуском каждого сборничка происходили у меня на дому — „в редакции" скромные собрания сотрудников и сотрудниц „Вешних Вод". Читались первые робкие литературные попытки, обсуждались поступающие письма в редакцию — отзывы и отзвуки из провинции, рассматривались принесённые рисунки, велись оживленные разговоры о литературных новинках, о популярных лекциях на религиозно-философские темы, о новых театральных постановках, о выставках картин, — „чей был лучше Христос — Иванова или Врубеля?"

Марксисты чуждались „Вешних Вод". Они не видели в сборничках „политической платформы", их настораживало и пугало отсутствие „социалистического подхода к устроению жизни", отсутствие обсуждений „положения фабрично-заводских рабочих", критики „правительственной политики", — критики, в которой, кроме „системы прижимов народных масс", они не замечали ничего. Одним словом, „Вешния Воды" на втором году их существования были признаны левым крылом петербургского студенчества „изданием явно враждебным

социал-демократическому движению российской молодёжи" и посему подлежащими „забвению", — проще говоря, бойкоту.

Но, как это ни странно, бойкот „Вешних Вод" красным студенчеством не мешал нашим сборничкам крепнуть и расти. Агентства по распространению периодической печати в крупнейших городах Европейской России и Западной Сибири охотно брали наши сборнички, получая 40% комиссионных, — и продавали все, без возврата. А мы не гнались за наживой, — лишь бы оправдать типографские расходы и кое-какие платежи по объявлениям в московских, киевских, харьковских и казанских газетах.

Дело шло и в январе 1913 года наши сборнички вылились в ежемесячный литературно-художественный студенческий журнал в 150-160 страниц, не плохо оформиленных „внутренно и внешне". Что журнал был не плохо оформлен, видно было по сотрудникам, — среди „студенческих фамилий" все чаще и чаще стали мелькать имена проф. П. И. Ковалевского, проф. В. М. Грибовского, академика А. И. Соболевского, проф. П. Е. Казанского, „балалаечника" В. В. Андреева, священника-публициста А. П. Устьинского...

Всё это были „не-сознательные" и потому „непередовые" люди, но все они были честными и верными защитниками национально-государственных интересов России.

Обратило свое внимание на „Вешния Воды" и газета „Новое Время", — „владетельница дум" коренной России. Первыми „нововременцами" на горизонте „Вешних Вод" появились талантливый критик А. А. Бурнакин и самая любимая корреспондентка Розанова — московская курсистка Вера Мордвинова, молоденькая девушка лет 17-18-ти. Она иногда приезжала в Петербург, бывала у Розанова и заходила ко мне, — и была на редкость даровитая. Вскоре за ними появились и два основных столпа „Нового Времени" — М. О. Меньшиков и В. В. Розанов. К этому моменту относится организация при „Вешних Водах" Литературно-Художественного Общества, — и редакции нашего журнала из обыкновенной квартиры на 7-ой Рождественской, 4 („Пески") пришлось переселиться в обширный апартмент с залой и двумя гостинными (не считая редакционных помещений и моих личных комнат) на Фонтанку 88, по другую сторону которой, слегка наискосок, находился „Малый Театр" Суворинских, артисты которого были всегда желанными и частыми гостями наших вечеров.

Очень дружелюбно относился к „Вешним Водам" и главный редактор „Нового Времени" М. А. Суворин, через руки которого иногда проходили и мои рукописи. Помнит „Вешния Воды" по Петербургу и Ив. Солоневич, о чем он вспомнает в своем

письме ко мне от 23-го ноября 1937 года, когда в Софии он издавал газету „Голос России" и звал меня из Тегерана „переселиться в Европу"...

***

Да простит меня читатель за это невольное отступление от основной темы моей книги, но без этого отступления была бы не ясна моя связь с Розановым и связь Розанова с „Вешними Водами".

Очевидно, что-то было в „Вешних Водах", что способствовало бытию этого журнала и его росту. Было прежде всего то, что „Вешния Воды" являлись в то время единственным Студенческим журналом РУССКОГО И ПРАВОСЛАВНОГО содержания не в смысле буквы, а по духу, — свободного от всяких партийных пут, внушений, понуканий и субсидий. Пожалуй именно это невольно и привлекало к себе доброжелательное внимание многих противников разложения и разрушения Исторической России.

Не утерпел и Розанов поближе подойти к молодой национально-русской мысли...

Итак, Василий Васильевич Андреев привёз меня к Василию Васильевичу Розанову осенью 1913 года, под вечер, часов в 5-ть дня. В те дни Розанов

жил на Коломенской 33, в первом этаже, в довольно просторной, но темноватой квартире.

Я увидел перед собою, как мне в то время казалось, „глубокого старика" (Розанову было 60 лет), среднего роста, худощавого, мешковатого, приветливого, но несколько как бы не то сумрачного, не то чем-то постоянно озабоченного человека.

— Здравствуйте, здравствуйте, — проговорил скороговоркой Розанов, пожимая мне руку и улыбаясь, — это вы то и есть!

И почему то дотронулся до моей „золотой" пуговицы на студенческой тужурке. Точно погладил её и что-то одобрил.

— Читаю, читаю „Вешния Воды"...

И, сразу оборвав речь, точно вспомнил о чём-то:

— Сейчас чайку попьём со сливочками!

И засеменил в столовую.

Комната, где нас принял Розанов, была обширная. Она исполняла роль и рабочего кабинета и гостинной. В одном углу стоял большой рояль, вдоль противоположной стены тянулась мягкая, длинная и широкая ковровая оттоманка, а где-то по средине у окон громоздился объёмистый письменный стол, засыпанный книгами, журналами, газетами,

рукописями и гранками оттиснутых статей, очевидно, для правки.

— Да, читаю, читаю, — возобновил свой разговор Розанов, вернувшись из столовой. А скажите, пожалуйста...

Тут пошли вопросы, обсуждения, рассуждения, которые кончились тем, что Розанов категорически заявил:

— Как только я подберу необходимый материал, так сейчас же мы заведём в „Вешних Водах" новый отдел...

И, действительно, месяца через четыре Розанов звонит мне по телефону: — „Приезжайте за рукописями, я кое-что приготовил для „Вешних Вод".

Так в журнале обосновался, под личной редакцией Розанова своеобразный отдел „Из жизни, исканий и наблюдений студенчества". Нужно-ли говорить, что этот отдел ещё шире раздвинул круг читателей „Вешних Вод", сделав этот журнал центром „наиболее думающего (по выражению Розанова) русского студенчества.

Отдел этот Розанов вёл крайне оригинально. Около его писменного стола в одном из простенков между окон стоял довольно высокий специальный шкаф, имевший до 30 глубоких ящиков (по алфа-

виту). Все ящики этого шкафа были набиты письмами. Розанов этот шкаф называл „студенческим".

С Розановым переписывалась или по крайней мере писала ему буквально вся живая, действительно, мыслящая и духовно независимая российская студенческая молодёжь обоего пола, отзываясь на те или иные книги и статьи Розанова. Отзывалась молодёжь горячо, возбужденно, то с негодованием — „где же тут христианство?!" или „не впадаете-ли вы в ересь?" То с восторгом — „вы необыкновенный мыслитель и диагност и превосходный стилист!" или „позвольте вас поцеловать"... То с укором, почему он так „решительно" пишет? Где его „обоснование знать все?" И с наивнейшими вопросами, откуда у него „такая интуиция", чтобы так „всё рядить, судить и достигать?"...

Были письма и сентиментальные, иногда тоже с укором, почему бы ему ни расширить „объём своих восприятий" в сфере „любви сердца" за счет „любви разума", ибо последняя и „губит мир"... Были письма и очень уж солидные по невероятному количеству страниц (такими письмами почему-то особенно отличались киевские студенты), — в них уже не писались, а трактовались то „заблуждения", то „странные подходы" Розанова к проблемам, „восприятия мира", „понимания человека", „освещения религий", „пола, девства

ИЛИ смерти"... И давались не то чтобы указания, а пожелания как „по настоящему" следовало бы „подходить к жизни". Письма последнего порядка Розанов пересматривал всегда с улыбкой, молча и как-то весело, точно именно эти письма доставляли ему наибольшее удовльствие.

Я как-то спросил:

— Василий Васильевич, сколько же надо времени и терпения разбирать пачку страниц каждого вот такого письма!

— Ну, что вы, минут пять-шесть, максимум десять не больше. Прочтёшь заключительную страничку и подпись. Вот и всё, и уже всё знаешь, КТО пишет и по ТОМУ, кто пишет, видишь содержание **всего** письма. „Кто", конечно, не в смысле фамилии. Потому то и легко такие письма получать и совсем легко читать их, — пусть лежат спокойно в стопочках других!..

Вот из этого архива, непрерывно растущего, Розанов и черпал неистощимый материал для своего отдела в „Вешних Водах". Обыкновенно он брал письма сравнительно короткие, наиболее ярко выражавшие ту или иную мысль и наиболее кратко, метко и остро её преподносившие. И случалось довольно часто так, что к такому почему-либо характерному письму Розанов писал своё подстрочное примечание иногда в виде целой и даже весьма объёмистой статьи, где очень часто можно было встре-

тить совершенно необыкновенные, чисто розановские озарения по целому ряду религиозно-философских проблем и где он так щедро сыпал своими удивительными выражениями, полными яркой остротой мысли и глубиной чувства. Это мы увидим дальше на одном примере.

Конечно, этот розановский отдел с такой постановкой его сильно взвихрил внимание к „Вешним Водам" и бойкот журнала со стороны „товарищей слева" мог только смешить своей наивностью и своим бессилием.

3.

В своем отделе „Из жизни, исканий и наблюдений студенчества" Розанов между прочим письмами печатал почти в каждом номере журнала письма москвички Веры Мордвиновой, о которой мы упоминали выше и которую Розанов за её живой, острый и наблюдательный ум и за её глубокую любовь к России особенно выделял из среды других своих многочисленных молодых корреспондентов.

Среди неопубликованных писем и рукописей Розанова, которые автору этих строк удалось вывести с собою из СССР в 1926 году (в Персию, — в Европу большевики меня не пускали), каким-то чудом сохранилось одно из розановских примечаний — подлинников на двух длинных и узких листках. Это — ПРИМЕЧАНИЕ О ЦЕРКВИ. Оно было написано к одному из писем Веры Мордвиновой. И письмо и примечание это в своё время (кажется, весною 1916 года) были напечатаны на страницах „Вешних Вод".

Вот это Примечание текстуально, полностью по сохранившейся рукописи, без всяких изменений и сокращений:

— „Здесь драгоценно слово — „приладили"" и ТОН всей заметки, далёкий от осуждения и проклинания отцов, хотя бы и Западной Церкви.

Дело идет о главе „Великий Инквизитор" в „Братьях Карамазовых". По Достоевскому, Западная Церковь, — папы, кардиналы и инквизиторы ИЗВРАТИЛИ СОЗНАТЕЛЬНО учение И. Христа, ПОДМЕНИЛИ Его своим церковным, своим католическим учением, основав его „на чуде, тайне и авторитете", тогда как Христос в ответ на дьяволово искушение отверг и чудо, и тайну, и авторитет, жаждая „сделать людей свободными".

Достоевский в великом пафосе написания этой знаменитой главы торопливо и сгоряча упустил из виду, что ведь и Православная Церковь, им столь безмерно любимая и для него вполне истинная, хочет и „таинств" (семь церковных таинств) и „чудес" (чудеса И. Христа, чудеса святых Церкви), и „авторитета". Как будто митрополит Филарет не имел авторитета и главное НЕ ХОТЕЛ его;

как будто „старцы" в монастырях не суть ВЕЛИКИЙ АВТОРИТЕТ ДЛЯ МИРЯН.

Все это вполне удивительно, что заявил Достоевский. От главы „Великий Инквизитор" прямая дорожка идёт к статье „Разрушение ада и восстановление ада" гр. Л. Н. Толстого, — по учению коего тоже „И. Христос разрушил ад, упразднил его, а церковная иерархия, или вернее — история Церкви, восстановила ад".

Великолепное и дивное изложение Достоевского ПО МЫСЛИ и особенно ПО ЗАДАЧЕ, ПО ТЕМЕ не разнится от написанного хладеющей рукой Толстого совершенно ничтожного освещения церковной работы. И оба эти изложения просто ведут к протестантизму, лютеранству, к рационализму и, главным образом, штунде; то есть, ведут ОЧЕНЬ НЕ ДАЛЕКО.

Через 35 лет по написании знаменитой главы (о Вел. Инкв.) от нее ничего не остается. Вдруг выходит девушка, в сущности — девочка (я извиняюсь перед автором письма) и говорит просто в приватном смысле: „Они приладили", они — „любя людей, сделали", — и только от мысли Достоевского и Толстого остается нехорошею отрыжкою — „из-

вратили". Я решительно отвращаю и это „извратили". В. М-ва очень хорошо их называет уже „отцами Церкви", а не „инквизиторами".

Обратимся к истории. От блаженного Августина до Папы Льва Великого, да и вообще вплоть ДО САМОГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЕЗУИТСКОГО ОРДЕНА, т. е. во весь КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРИОД КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ, ни у одного из строителей ее не было мысли, что он „извращает учение И. Христа" и творит что-то скверное, дурное, дьявольское! Нет, нет! — этого самоощущения не было!!!

Зиждители Церкви, и Западной, не говоря уже о Восточной, — именуются и сами себя САМО-ОЩУЩАЛИ ОТЦАМИ ЦЕРКВИ, т. е. „старцами добрыми, заботливыми, хлопотунами около людей", — насадителями Вертограда Господня! Да они бы все удавились от горя, если бы в их голову и сердце закралась хотя малейшая мысль о том, что они „извращают и подменивают учение И. Христа и Евангелие". А если не было сознания об этом, то НЕ БЫЛО ЭТОГО И НА ДЕЛЕ, хотя ошибки и уклонения и могли быть (споры в истории Церкви, ереси, сектанство).

Но „ошибка" и „злостное извращение" — большая разница. Нет они были во-истину

„отцами", заботниками, и Николай Мирликийский, и святые Василий и Григорий Богослов, и Иоанн Златоуст и наши русские Отцы и, наконец, — Западные, до несчастного прихода Лютера, когда все СЛУЧИЛОСЬ в Западной Церкви и в смуте появилось отчаяние о спасении людей и в отчаянии зародился иезуитский орден, поведший дело "va bank'.

„Хоть обману, да спасу". Но это относится к истории Церкви ПОСЛЕ ЛЮТЕРА, тогда как и Достоевский и Толстой говорят оба о ДО-Лютеровском христианстве, о классическом периоде Церкви, о ВСЕЙ ИСТОРИИ ХРИСТИАНСТВА НА ЗЕМЛЕ.

Смотрите-же как МЯГКО ЛЕГЛО ЭТО у девушки: „Они приладили все к людям", „любя их"... О, тогда, они „отцы". Устранено жестокое; устранен гнев и ярость, — и подразумеваемая во всяком гневе содержащаяся КАЗНЬ.

А ведь и Достоевский и Толстой в „Восстановлении ада" — оба дышат казнью на Церковь, на историю!!! Какие ужасы! К ним подходит, к двум старцам, девочка 19 лет и останавливает за плечо: „Что вы, — они добрые! Они — отцы! У них не было, ни у одного,

злоумышления, а они все ПРИЛАЖИВАЛИ к людям и нуждам их".

В самом деле: вот обряд погребения. Возник ли он со слов И. Христа: „Оставьте мёртвым погребать мёртвых"? Явно — нет: Это — новое, тех „отцов" соделанное руками; и всякий из нас, у кого умирает отец или сын, — целует за эту работу руку тех отцов. „Сии суть отцы Церкви, ибо нас утешили".

А литургия? ОНА УТЕШАЕТ НАРОДЫ ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ ЛЕТ, — хотя ее нет в Евангелии. Кто же смеет сказать, что „извращение"?! Да ведь и Христос Сам изрек об учении своем, что оно „подобно ЗАКВАСКЕ, которую женщина кладет в муку", — и тогда тесто ВСХОДИТ. Так — „всходит", а не „прокисает".

„Восхождение теста" и есть „Церковная история", из ЧИСТЕЙШЕГО СЕРДЦА ВЫРОСТАЯ; восхождение, в основу коего положено Евангелие и Господь наш Иисус Христос и Апостолы и мученики.

Эх, господа литераторы, пусть и великие: надо бы ОСТОРОЖНЕЕ ходить около того, на что молятся мужики, бабы, дьячки, мещане, купцы, наши сородичи, наши соседушки, коих большие миллионы, и еще больше этих

миллионов легло в землю, и все умерли... а теперь все живут с верою, что

ЦЕРКОВЬ СВЯТА

И воистину как

ЧИСТАЯ ДЕВА, НЕВЕСТА ХРИСТОВА.

Осторожнее, осторожнее здесь, — здесь страдание и труд человеческий.

В. Розанов.

***

Уже по одному этому Примечанию можно судить, какой интерес представлял для молодых, да и не только для молодых розановский отдел в „Вешних Водах", не говоря уже о статьях, беллетристике и о прочем НЕ-случайном материале других сотрудников журнала.

Была мысль издавать этот отдел, помимо его ежемесячного печатания в журнале, в виде Ежегодника, выпуская его в конце декабря каждого года, — чтобы можно было легко находить толкования Розанова на затрагиваемые в письмах ему вопросы. И кроме того удовлетворить желание некоторых читателей „Вешних Вод" — „иметь Розанова в особом издании".

Среди розановских Примечаний были и короткие, всего лишь в две-три строки, вроде такого: — „О чем так волнуется автор, застилая от себя своим

многословием простое положение: .....„И дальше следовало это „положение", выраженное в четырехпяти словах.

Но иногда Розанов, как видим, увлекался и отвлекался от главной темы того или иного письма так сильно в сторону, что его Примечание превращалось в солидную главу ещё ненаписанной книги.

Из предложения выпускать в конце каждого года „Из жизни, исканий и наблюдений студенчества" отдельной книгой ничего не вышло. „К чему это! — отверг Розанов, — пусть хранят „Вешния Воды". Журнал в целом пригодится всем, а не только мой отдел...

4.

Из тех писем Розанова, которые лежат перед автором этих строк, мы приводим ниже лишь полученные от Розанова из Сергиева Посада, куда он переселился из Петербурга в конце 1917 года после закрытия газеты „Новое Время", где он был одним из главных сотрудников.

Из этих писем читатель увидит, до каких низин нужды и голода дошёл Розанов с первых же дней Октября и какими тяжёлыми душевными впечатлениями эти дни легли на его мысли и чувства. Эти письма характерны ещё тем, что они являются документальным свидетельством чуткого и глубокого ума, какое великое несчастье постигло Россию, свалившуюся в яму социалистического бреда и блуда, и какая длинная полоса ЛЖИ И КРОВИ стала терзать и захлестывать русский народ в результате „хлопотливой заботливости" о нём прекраснодушных российских либералов, прогрессистов и прочих „передовых" общественно-полити-

ческих деятелей, столь энергично и хвастливо и даже с гордостью подрубавших корни Императорской России...

Перед этими письмами бледнеют всякие воспоминания. Как общее правило, всякое воспоминание отклоняется от истины в ту или другую сторону. А здесь мы видим человека необычайных умственных дарований, всегда честного и всегда исскреннего и всегда стоявшего вне каких бы то ни было партийных шор, — непостредственно кипевшего в этом несчастии и в процессе кипения фиксирующего свои переживания так, как Бог ему клал их на душу, вполне правдиво и точно. Его голос шёл из самого котла развертывающейся трагедии, а не от стоящего в сторонке, в тиши и покое, и описывающего свои воспоминания, да ещё под углом тех или иных настроений.

Много-ли мы имеем таких писем от таких людей! Отсюда историческая ценность писем Розанова от 1918-го года.

Приводя письма Розанова, как и в дальнейшем нашем изложении его неопубликованные статьи, мы сохраняем все особенности розановского стиля, его курсив, его ковычки, многоточия и прочие знаки, без коих Розанов себя не мыслил, ибо для оттенков своих мыслей и настроения у Розанова до очевидности не хватало слов на нашем обывательском языке.

И ещё, — Розанов упоминает в некоторых своих письмах об „Апокалипсисе нашего времени". Это — маленькие сборнички маленьких статей Розанова, общее содержание которых не столько внешне, сколько по внутреннему смыслу сводилось к ощущению Розановым „последних дней". Розанов как бы прозревал в наступившей ЭПОХЕ ТЬМЫ И СКОРБИ то окончательное духовное оскудение, которое неминуемо должно привести человека к концу его ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО бытия. И тогда — „Зверь выйдет из бездны".

Издавались эти сборнички в Сергиевом Посаде объемом в 16 страниц, форматом в „осьмушку", немного больше почтовой открытки, на плохонькой бумаге.

> Под секретом и В ТАЙНЕ: мы дошли до такой судьбы, до такой трагедии, что Варя и Надя решили выехать обратно в Петроград, чтобы поступить в случае крайности даже в прислуги... РАДИ БОГА ПРИШЛИТЕ ДЕНЕГ, сколько можно, сколько в силах; поговорите с В. В. Андреевым. ПОЛНОЕ ОТЧАЯНИЕ. Скажите Бурнакину, чтобы вернул мне непременно и без промедления: книги — „Русское народное искусство", издание Кривошеина, и „Церковь Ильи Пророка в Ярославле".

Все это — ДЛЯ ПРОДАЖИ. Мы — гибнем. Уже 2.000 занято, и занять больше негде. Сделайте объявление об „Апокалипсисе нашего времени" и дайте рецензию.

Ради Бога и во что бы то ни стало денег. Картофеля еще много (кадка), капусты 7-8 качнов, луку — ничего. Не пришлете ли круп, грибов сушеных, особенно бы гороху. Можно по почте до 20 фунтов.

Ради Бога — помощи. Ради Бога — спасите. В. РОЗАНОВ.

На отдельном листке (в пакете вместе с рукописями. Оба письма присланы с оказией одновременно):

Вышлите мне сто рублей: терплю горе, заключил контракт на квартиру, 75 рублей без дров, 4 комнаты, — дрова пока на неделю есть, и за месяц уплачено вперед. Но больше не „ма" денег и что буду делать — не знаю, не понимаю, ума не приложу. Беда. Лютая беда. Ради Бога.

...Посылаю вам статьи. Только я опасаюсь, не ЛУЧШЕ ли подписать инициалами В. Р—В. Подпишите лучше так, то есть, все В. Р — В; а то сегодня я прочёл об учреждении

революционной „охранки" и можно ведь получить БОЛЬШИЕ неприятности. И так: фамилии НЕ ПЕЧАТАЙТЕ. Вы знаете „расправы" наших.

Приписка на полях письма:

Господи, ведь я же талант: неужели мне Бог не даст довести до конца курса детей.

Участь их была ужасна: единственный сын писателя, вскоре после его смерти, погиб под поездом, упав с площадки между колесами. Младшая дочь ушла в монастырь, — судьба двух старших неизвестна, оне как-то пропали. И совершенно неизвестно, где архив писателя.

Эти письма, первые из Сергиева Посада, были получены автором этих строк в средних числах февраля 1918 года. Розанов редко датировал свои письма, — для него „канцелярское время" как то не существовало, во всяком случае он ему не придавал никакого значения. И далеко не всегда подписывал свои письма. О времени их отправки приходилось большею частью судить по почтовым штемпелям.

В ответ на посланные сто рублей Розанов пишет в открытке от 8-го марта:

От кого, от кого 100 рублей, предполагалось с нескольких сторон: и вдруг от моего милого С.

На другой день — БАЗАР, и я пошёл на сие „соединение Азии и Европы". И вот продукты: 6 фун.творогу — 12 руб., ещё сегодня фунта три осталось; 4 нитки грибов белых. 1 фунт — 12 рублей (в лавках — 14 р.) и две кринки топлёного молока (С ПЕНКАМИ) — по 2 р. 25 к. кринка. (Мое упоение, с кофеем). Вообразите, что я до ПОСАДА даже не знал употребления не кипяченого, а именно ТОПЛЕНОГО молока, с ТОЛСТЫМИ ПЕНКАМИ. Остальное пошло на то и се. Спасибо.

Таковой была бытовая сторона розановской жизни в Сергиевом Посаде.

Базар с осени 1917-го года стал занимать центральное место усиленного внимания всех, обреченных на житие в советской России. Именно с этого времени начался кошмарный момент полного материального разорения и полного разгрома культурных ценностей России и всего российского народа.

Русская интеллигенция в самом широком понимании этого слова, от родовитых семей, высококвалифицированных инженеров и профессорских

коллегий до самого скромного чиновника, — вдруг ограбленная и разом обнищавшая, прежде всего и прежде всех понесла на базар всё своё достояние. Понесла „под секретом и в тайне", под гнётом стыда и крайней нужды, — понесла на шумную грязную площадь, в толпу распоясанных, сытых и пьяных, вчерашних темных проходимцев, профессиональных ловчил и жуликов, — сегодняшних „господ положения".

Вслед за домашним скарбом и дедовскими сувенирами широкой и разухабисто наглой волною хлынули на базар „товары" из разграбляемых „буржуйских" квартир, особняков, дворцов, музеев и затем церквей...

Так „пролетариат" справлял ликующее торжество своей „диктатуры",..

***

На предложение автора этих строк принять участие своим сотрудничеством в предполагаемой к изданию газете — после переезда „Нового Времени" на юг России, Розанов пишет в своем письме от 11-го апреля 1918 года:

> Вполне принимаю ваши условия, дай Бог только, чтобы издание было вполне СОЛИДНЫМ. Программа его, как вы её изложили, есть конечно — и МОЯ ПРОГРАММА, притом — патетически моя.

Изболелась душа. Душно, душно, душно. Не так страшно, как ОМЕРЗИТЕЛЬНО.

В этих немногих словах Розанов с поразительной полнотой и точностью охарактеризовал „цветочки" развертывающейся революции.

> Теперь революция пошла „в лапотках" и „онучах" и кажется это все-таки лучше, чем когда она ходила в смазных сапогах: потому что и они, конечно, с самого же начала были предательскими.

Попутно в этом же письме Розанов дает интересную характеристику о. Павла Флоренского, участие которого также было желательно в предполагаемой газете:

> С отцом Павлом Флоренским мы самые близкие друзья. Он приходит почти каждый день ко мне и мы вместе льём слёзы о нашей несчастной России, так ужасно заблудившейся и блуждающей... Не воображайте, что он занят лишь церковным вопросом или одною церковной стороною революции. Скорбь его о России так же велика, как и моя. Это Паскаль нашего времени, Паскаль нашей России, который есть в сущности НЕГЛАСНЫЙ ВОЖДЬ ВСЕГО МОСКОВСКОГО МОЛОДОГО СЛАВЯНОФИЛЬСТВА, и под воздействием которого находятся множество умов

и СЕРДЕЦ в Москве и в Посаде, да и в Петербурге. Кроме колоссального образования и начитанности, горит самым высоким энтузиазмом к истине. Знаете, — мне порой кажется, что он — СВЯТОЙ: до того необыкновенен его дух, до того исключителен.

... Я думаю и УВЕРЕН в тайне души, — он неизмеримо ещё выше Паскаля, в сущности — в уровень греческого Платона с СОВЕРШЕННЫМИ НЕОБЫКНОВЕННОСТЯМИ в умственных открытиях, в умственных комбинациях или вернее прозрениях...

Только он ещё пессимистичнее моего смотрит на положение России („Россия окончательно уже никогда НЕ ОПРАВИТСЯ") и ждёт того же и в Европе, только по совершенно другим мотивам, чем эти дурачье социалисты...

Я буду писать: передовые статьи, без подписи, как от редакции. Я таковыя писал и в „Новом Времени" 20 лет. Они требуют одного слога, очень объективного. Другие — личные, патетические, за подписью: „В. Розанов".

Сейчас сяду за передовую в Пасхальный номер и вы её получите вероятно завтра по личному вашему адресу.

Флоренскому и мне должна быть адресована газета.

Дай Господи ей успеха. О, какая эта надежда России!

Эта передовая приводится ниже, после его статьи „Рассыпавшиеся Чичиковы", присланной для первых номеров той же газеты, которой, однако, так и не суждено было выйти в свет из-за последовавшего вскоре полного разгрома всей периодической русской печати и закрытия всех русских издательств и типографий.

РАССЫПАВШИЕСЯ ЧИЧИКОВЫ

В 14 лет „Государственная" Дума промотала все, что КНЯЗЬЯ КИЕВСКИЕ, ЦАРИ МОСКОВСКИЕ и ИМПЕРАТОРЫ ПЕТЕРБУРГСКИЕ, а также СОСЛУЖИВЦЫ ИХ ДОБЛЕСТНЫЕ накапливали и скопили в тысячу лет.

Ах, так вот где закопаны были „МЕРТВЫЕ ДУШИ" Гоголя... А их все искали вовсе не там... Искали „вокруг", а вокруг были Пушкин, Лермонтов, Жуковский, два Филарета, Московский и Киевский...

Зрелище Руси окончено. — „Пора надевать шубы и возвращаться домой".

Но когда публика оглянулась, то и вешалки оказались пусты. А когда вернулись „домой", то дома оказались сожженными, а имущество разграбленным.

Россия пуста.

Боже, Россия пуста!

Продали, продали, продали. Государственная Дума продала народность, продала веру, продала земли, продала работу. Продала, как бы Россия была ее крепостною рабою. Она вообще продала все, что у нее торговали и покупали. И что поразительно, она нисколько не считает себя виновною и „кающегося дворянина" в ней нет. Она и до сих пор считает себя правою и вполне невинною.

Единственный в мире парламент.

Как эти Чичиковы ездили тогда в Лондон. Да и вообще они много ездили и много говорили. „Нашей паве хочется везде покаваться". И ... „как нас принимали!"

Оказались правы одни славянофилы.

Один Катков.

Один Конст. Леонтьев.

Поразительно, что во все время революции ЭТИ ТЕЧЕНИЯ (славянофильско-Катковское) нашей умственной жизни не были даже вспомнены. Как будто их никогда даже не существовало. Социалисты и инородцы единственно действовали.

— А что же русские?

Досыпали „сон Обломова", сидели „на дне" Максима Горького и, кажется, еще в „яме" Куприна... Мечтая о „золотой рыбке" будущности и исторического величия.

В. Розанов.

Эта коротенькая статья настолько выразительна по яркости своей мысли, настолько остра в своих выражениях, настолько горька по своей тайной

печали, — наконец, настолько жизненна во времени, что беглые комментарии к ней как-то неудобны.

На тему этой статьи, этого выразительного конспекта целой исторической монографии о мертвых душах российских времён Государственной Думы можно написать и, Бог даст, будет написана большая интересная книга...

И о Розанове.

И о роли Государственной Думы.

И о трагедии РУССКОЙ мысли, изнывающей от боли и гнева...

**
*

Вопроса о Государственной Думе Розанов касается попутно ещё раз более спокойно и объективно (относительно обективно, потому, что Розанов „по нутру" своему врождённый „субъективист") во второй „передовой статье в номер к Пасхе" под заглавием — „С ПЕЧАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ".

В этой статье он дает ряд наглядных иллюстраций, характеризующих, пусть субъективно, но вполне честно, глубоко и правдиво печальную роль в революции народа нашего и, главным образом, „заезжих людей и туземных господ", на долю которых падает поистине девять десятых активного бунта против „родной истории".

С ПЕЧАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Утописты-мечтатели, понятия не имеющие и никогда не имевшие о русском народе, вообразили, что за одно послушание золотых речей их народ этот отдаст и красное яичко в Христово Воскресение и братское целование при встрече друг с другом, — даже отдаленно знающих один другого людей, — и всю великую обрядность и наряд церковный и народный.

Народ послушился было их на несколько месяцев, но уже теперь испытывает в тяжелых вздыханиях, что значит променять родную историю, скованную в груди этого самого народа, на клубную болтавню разных заезжих людей и туземных господ, подражавших этим заезжим людям.

Прошло всего 14 месяцев и Россия испытала такой погром и разгром самое себя, перед которым бледнеют все бедствия, вынесенные нами в нашей многотрудной и терпеливой истории.

Во-истину, нет сил больше терпеть и переносить. Ни татарское жестокое нашествие, ни вхождение в Россию Наполеона, ни Крым и Севастополь, ни половцы и печенеги не вносили в Россию и малой доли того крушения сил ее, какое внесли эти всего 14 месяцев. Буквально, мы стоим как бы при начале русской истории, буквально — русская история как бы еще и не начиналась. Приходится опять заводить все сначала, приходится тысячелетнего старца сажать за азбуку, как младенца, и выучивать первым складам политической азбуки.

Ни о каком красном звоне, ни о каком ВОСКРЕСНОМ событии не может идти речи в теперешнем населении России, которое забыло свою историю и веру, им же самим, этим населением взрощенную, — им же самим, этим населением, возделанную.

Виноградарь сам вырвал лозу, им когда то посаженную, и пахарь затоптал поле, им вспаханное. Все это под трезвон разглагольствований, в которым была бездна злобы и не было никакого смысла. Кому то понадобилось возбудить эту злобу, — кому то понадобилось затемнить этот смысл.

Подадобилось призвать русских людей друг на друга, возбудить сословную или так называемую „классовую рознь", хотя с чужого голоса русские люди впервые выучлись или вернее начали выучиваться произносить слово „класс". Как будто Князья русские не на тех же воротов вели Русь, на которых шли и простые ратники, вчерашние хлеборобы; как будто вообще „езда" не состоит из ямщика, коней и саней...

Но кому то понадобилось распречь русские сани, и кто-то устремил коня на ямщика, с криком — „Затопчи его!", ямщика на лошадь, со словами — „Захлещи ее!", и поставил в сарай сани, сделав невозможною „езду".

Кому-то понадобилось приостановить русское движение, кто-то явно испугался его и начал нашептывать ядовитые шопоты о классовой розни. Кто-то давно начал мутить и возмущать Русь. Не „классовые интересы", занимали этого врага Руси. Ему нужно было ослабить всю Русь.

И вот Русь повалилась и развалилась, как глина в мокрую погоду.

Еще вернее будет сравнение, если мы скажем, что она развалилась под идущим железнодорожным поездом.

Со временем история разберет и укажет здесь виновных. Хотя и теперь уже очевидно, что в Государственной Думе четырех созывов не было с самого же начала ровно ничего ГОСУДАРСТВЕННОГО; у ней не было самой заботы о Государственном и Государевом деле, и она только как кокотка придумывала себе разные названия или прозвища, вроде „Думы народного гнева" и тому подобное. Никогда, ни разу в Думе

не проявлялось ни единства, ни творчества, ни одушевления. Она всегда была безталанною и безгосударственною Думою.

Сам высокий титул: „Думы" — к ней вовсе не шел и ею вовсе не оправдался. Ибо в ней было что угодно другое — кроме „думанья". Образование так называемого „прогрессивного блока" в ней было крушение последних ГОСУДАРСТВЕННЫХ надежд на нее.

Все партии соединились даже и националисты, даже и правые, чтобы ОБЕЗГОСУДАРИТЬ Россию, сделать из нее толчею так называемых „общественных элементов" или общественных сил, не руководимых болею одною государственною силою и национальным интересом.

Завершающая формула этого общественного движения, выраженная в требовании „ответственного перед Думою правительства", была особенно интересна в виду того, что сама Дума обозначалась с тенденцией или с возможностью предать всю Россию врагу, с которым эта Россия находилась „в состоянии войны". Большего абсурда, большей нелепости, кажется, не встречается во всемирной истории и в игре политических сил и страстей.

Последствием было то, чему мы были свидетелями эти 14 месяцев.

Россия обезгосударилась, но и вышло кое-что непредвиденное: она перестала кому бы то ни было и чему бы то ни было повиноваться. Она начала просто распадаться, деформироваться, переходить в состояние первобытности и дикости. Так называемой „русской культуры", от имени которой было предъявлено столько требований, — как не бывало. Зовущий к ответу перед собою остался сам без имени и без лица.

Россию нужно строить сначала, моля Бога об одном, чтобы это была летаргия, а не смерть.

Так то мы встречаем праздничек Христов. И колокол за-

звучал сегодня в двенадцать часов ночи так печально, с такими дрожащими в себе звуками, как он не звучал ни однажды в тысячу пятьдесят шесть лет изжитой нашим народом истории. Самое страшное из всего, что это оказался и не „народ", а какие то „люди".

— „Чьи это люди?" — спрашивают иностранцы, и отвечают насмешливо:

— „Мы не знаем".

Вот поистине состояние, неизвестное еще в географии.

В. Розанов.

С момента написания этой статьи прошло пятьдесят лет, но свежесть набросанной картины — „зарисовки с натуры" сохранилась полностью. Эта свежесть тем ценна, что она овеяна и живет мыслями гениального провидца, сразу понявшего и целиком воспрившего всю ширь и всю глубину разверзшейся бездны.

14 месяцев российской революции — срок, который может дать рядовому уму лишь внешние впечатления, омраченные ужасом текущей реальности. Пусть читатель внимательно вчитается в каждый абзац этой розановской, до сих пор нигде неопубликованной статьи, чтобы представить, как все-охватывающе воспринял Розанов эту грозу и как он на большие десятки лет смотрел и видел

вперед, — настолько отчетливо и полно видел, что для него не было никакого сомнения в основном — „РОССИЮ НУЖНО СТРОИТЬ СНАЧАЛА".

И не случайно Розанов в страхе писал, — „лишь бы это была летаргия, а не смерть!" До того ясно провидел он неизбежность свирепой расправы над Россией и над русским народом „заезжих людей" с их страстным и открыто демонстративным стремлением не только обезгосударить, но и обезличить и обезволить русский народ, сведя его к состоянию „неизвестному еще в географии".

***

Издательство журнала „Вешния Воды" раз в году, осенью, выпускало специальный популярный литературно-художественный СБОРНИК для широких студенческих масс, — по очень дешевой цене. В этих Сборниках помещались произведения главным образом молодых русских студентов и курситок — статьи, рассказы, рисунки, стихотворения, критические заметки.

Но на-ряду с этими „пробами пера" печатались и „вещи стариков". Среди постоянных участников этих Сборников были: В. В. Розанов, проф. П. И. Ковалевский, В. В. Андреев, В. П. Буренин и др. Розанов обычно писал ПЕРЕДОВЫЕ к этим Сборникам — без заглавия.

Рукопись одной из таких ПЕРЕДОВЫХ сохранилась у автора этих строк.

Вот она, — текстуально:

Что ценно в юности? Свежесть, непосредственность, правда. Что всего легче для юности? Свежесть, непосредственность, правда. Она естественно не может быть мудрою, ученою, опытною, дальнозоркою, предусмотрительною. Все это для нее „трудно".

Отчего же самое легкое и самое нужное не встречается давно? А оно не встречается, или встречается редко.

Печать и общество давно стали „ИГРАТЬ на юность"... Стали играть на ее лучшие и вместе единственные дары, поистине на „райское дерево" в юности.

„Идите К НАМ"....

„Если вы не подете К НАМ, — вы отвратительны".

„Только С НАМИ вместе, в единении, вы останетесь честными, чистыми, героичными"...

Не будем разбирать куда звали юношество, и вообще оставим совершенно в стороне программу... Дело скучное и не интересное.

Но дело — в ЗОВЕ, МЕТОДАХ его... Каждый ЗОВ ПРЕДЛАГАЛ выбрать юноше, девушке нечто такое, что было построено разными мудрыми или не мудрыми головами, а во всяком случае НЕ ВЫРОСЛО ИЗ НИХ САМИХ. И всякий решительно зов включал молчаливую мысль: „сами по себе вы не ценны, вы ценны только ОКОЛО НАС, как наши помощники". — „ОТРЕШИТЕСЬ от себя"...

Между тем „свежий румянец юности" нужен был часто только полинявшим программам и полинялым старцам, дабы расцветиться перед публикой, красками, каких своя душа и свое тело не дает....

Подрумяниться молодостью кому не хочется... И вот куда пошла физиологическая, возрастная юность. Так кокетки европейских столиц, не всегда молодые кокетки, одеваются в перья африканских, австралийских, бразильских, индийских птиц... И столько таких пташек идет на убой, чтобы поношенная красотка двуногих не выглядела такой увядшей.

Гибель молодежи в ее свжести, непосредственности и правде, в ее свободном, независимом „я", — есть одно из величайших несчастий России, коему возраста — вот уже на моей памяти сорок лет. А всего возраста — я думаю 50-60 лет.

Начинается сладкой кормежкой и кончается раннею хилостью. Так, в другой совсем сфере, для других целей, — бывает подстерегают отрочество около гиманзий отвратительные старики и старухи, и также дают конфеты, заводят ласковые разговоры, дают обещания... и уводят в ОМУТ.

Об этом-то вечная БОЛЬ. И если настоящий „Сборник" даст несколько свежего своего румянца молодежи, если хоть нескольким юношам он скажет, с другой стороны, О ЧЕМ в молодежи болят старшие — он достигнет своей цели...

В. Розанов.

Пусть сдержанно и терпеливо, но как ярко и наглядно изложил свою мысль Розанов об улавливании русской молодёжи и об её разложении — духовном и политическом, чтобы через Омут погнать ее НА УБОЙ.

Этот свой анализ в этой маленькой передовой к Сборнику Розанов преподносит в исключительно сжатой форме и в исключительно глубоком раскрытии зова к русской молодежи ОТРЕШИТЬСЯ ОТ СЕБЯ, отказаться и от СВОЕЙ мысли и от СВОЕЙ воли, — зова, чтобы пойти вот за этими „разными мудрыми или не мудрыми головами" и творить ИХ волю по ИХ мысли... И этим задушить тысячелетнюю историю России в кольцах красного удава.

Уже тогда, за два года до революции 17-го года, Розанов в этом зове, возраст которого он исчисляет в 50-60 лет, видел „одно из величайших несчастий России". Тогда как зовущие мнили себя „лучшими людьми", „цветом российской интеллигенции", учителями и сеятелями „доброго, вечного". Это в теории, — это гремело по просторам России красиво и увлекательно, а по результатам своей „просветительной" практики „учителя" и „сеятели" оказались ВЕЛИКОЛЕПНЫМИ БОЛВАНАМИ, погубившими и себя, и молодежь, и страну, и все достояние блестящей Империи...

Но мало кто в те дни думал о СОХРАНЕНИИ русской молодежи в её свежести и в правде, — а тот, кто думал, страдал от вечной боли. Этой болью Розанов страдал тяжко и потому он так отзывчиво шёл на всякое проявление русской молодежью СВОЕЙ НЕЗАВИСИМОЙ РУССКОЙ МЫСЛИ, су-

мевшей устоять от напора на русскую юность соблазнительной „сладкой кормёжки".

В своём отделе „Из жизни, исканий и наблюдений студенчества" Розанов не однажды в Примечаниях к письмам возвращался к теме об уводе русской молодежи „от Церкви и Родины" и буквально пророчески подчеркивал и указывал на тот ОБРЫВ, к которому неслись и печать и общество российские, увлекая за собою „заблудшуюся Русь", в ее поисках „синей птицы".

Трагедия наша заключалась в том, что мы в шумной массе своей не замечали самое главное, — ДИРИЖЕРОВ, людей блуждающих и заблудившихся, — дирижеров, по нотам розыгрывающих симфонию убийства России, её растления и гибели...

Несясь к обрыву, мы воображали, что несёмся „к свету", к „братству и любви", тогда как на самом деле, — жизнь показала это убедительно, МЫ ПАДАЛИ, захлёбываясь в мракобесии „передовых идей", — отравленные ложью...

***

У автора этих строк сохранилось 19-ть писем Розанова за период времени с 1915 года по 1918 год включительно.

Опубликовать их всех полностью даже теперь ещё не представляется возможным, ибо в большинстве из них Розанов касается очень многих извест-

ных литературно-общественных деятелей, которые могут быть еще живы и жить в СССР.

Среди этих писем, примерно, треть чисто деловых, — о рукописях, корректурах, об оттисках некоторых статей и пр. Есть и „патетические". Ниже приводится три из таких „патетических" писем, почти полностью.

Письмо (открытка) по почтовому штемпелю от 24 апреля 1918 года. Из Сергиева Посада.

— Дорогой М. М.! Не могу выразить, до чего я счастлив, что Голлербах начал писать обе мне. Нет человека, нет УМА и ДУШИ, которым бы я так ДОВЕРИЛ СЕБЯ и все свое понимание мира, восприятие мира и жизни. Только Ш. ещё лучше бы его понял меня, но Голлербах сродни Ш., хотя и совсем разный, чем он.

Но Голлербах имеет музыку чести, музыку благородства в душе, а Ш. просто только „без памяти любит меня", а так вообще к людям был насмешлив, презрителен и довольно циничен. Он был гений (Голлербахом, повидимому, непонятый), но с... с... Вообще Ш. был феномен, чудище, гигант и чудак. „По МНЕ брат", признаюсь.

Встретясь с Флоренским, я сказал ему: „Знаете, Павел Александрович, — я нашёл своего (неразборчиво написанное слово).

Он: „Читал, читал. И даже взял мою любимую Васину книгу — „Литературные изгнанники", чтобы проверить цитаты Голлербаха.

Ну, спасибо ему. Передайте поклон.

Вышел № 5 „Апокалипсиса" и там я вложу ещё письмо — вам и Голлербаху. Посылая — вложу письма.

В. Розанов.

Письмо — по почтовому штемпелю от 30 августа 1918 года. Из Сергиева Посада. На узкой и длинной полосе бумаги.

Без обращения.

— Не могу передать всего, что испытываю 2 дня от сделанного мне „Вешними Водами". Спасибо, спасибо друзья! спасибо, юность! Спасибо, милый М. М.!

Никоторая редакция, где я ни писал, не оценила так моего труда, а между тем в „Вешния Воды" я валил то, что оставалось от „стола" других редакций, и мне в голову не приходило, что для „Вешних Вод" это так значительно.

Когда я читал „статью от редакции", где выделены и подчеркнуты, а, следовательно, и выставлены к свету, к виду, к ИСТОРИИ разные „примечания" к статье „Из жизни, исканий и наблюдений студенчества", — я до того был поражён, это до того вообще трогательно, если хотите и вполне нужно сказать — это ДО ТОГО КУЛЬТУРНО (colo, colui, **cultum,** colere — чту, почитаю, УВАЖАЮ), что встретить это В РОССИИ, где вообще никто ничего не уважает и — никого не уважает, а на всё всё „плюют" (сущность русского нигилизма), что... прихлынула к сердцу кровь и затрепетала радостью.

Ведь с colo... cultum начал я „Сумерки просвещения", в 1893 году. И вдруг — это чудное озарение, как-бы слово юности (конечно, „Сумерок просвещения" не читавшей): „усни, старик: мы также думаем; то, о чем ты заботился — в крепких руках".

Это — совпадение: — секрет-то дела „Вешних Вод" заключается КОНЕЧНО не в том, чтобы я сколько-нибудь им помог, но... как снежинка к снежинке в студёную зиму, начали приставать студенты и курсистки друг к дружке, лепясь около ИСТОРИИ нашей разбитой и несчастной; в сущности — около благородного и чистого своего сердца.

Вот — суть; и никто „не спасённого" не спасёт, а люди только „САМОСПАСАЮТСЯ". И хочется мне крикнуть об этом лозунге на всю Русь, на всю юность, да свечка догорает, без подсвечника и одна.

Спасибо, целую Мишу как доброго сына. Он, он, он. От редактора всё зависит, — САМ знаю, и, значит, „без Миши"-бы и „Голлербах" ничего не мог, да и Мурахина не прислала бы без зова Миши своих белоснежных слов. Ими, как снежком на могилу, посыпала старушка милая и ЮНАЯ старику, 62-летнему писателю. Как ей „спасибо". Какое чудное понимание — о ЖЕНСТВЕННОСТИ во мне, о том что нужно „позаботиться" обо мне, — и особенно о ПРОЗРАЧНОСТИ и о полной ЯСНОСТИ моей души: а ведь видела она меня всего 3-4 раза, и мы пили „чай БЕЗ прикуски" и курили тощия папироски. Но её гродамное образование (знает 8 языков и Древнюю историю) и генеология из графов Цеппелин, как она говорит, — из чешских графов, её бешеное „умру за Россию", „Россия — СПАСЁТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО!" — сделало дело. И она обвеяла мою старую и тоже ЮНУЮ душу, как я не видел ни от кого никогда. Гаснет свеча. В. Р.

Письмо — по почтовому штемпелю от 18 октября 1918 года. Из Сергиева Посада.

Без обращения.

— Безмерно счастлив Голлербахом, Мурахиной, вами (я не знал, что это — ВЫ, то есть, ваше „Примечание" ред.).

Я именно СЧАСТЛИВ, а не просто, — рад. Как чудно вообще это вышло, что подошла старушка 55 лет и юноша 27 лет, и сказали оба в ОДИН ЧАС, ОДНИМ СЛОВОМ. И сказали не пустые люди, не „кое-кто": сказала знающая 8 языков Мурахина, перевод коей Сервантеса заслужил одобрение Академии Наук, знаток Египта и Халдеи. И как она СКАЗАЛА! Какая нежность и глубина, какая прелесть самой РЕЧИ, СЛОГА!

Я давно, с месяц назад, написал вам письмо; но за переносом своей библиотеки из нижнего этажа в верхний письмо с характеристикою „мужа и жены" Мурахиных-Аксеновых затерялось, хотя конечно я его найду и тогда пришлю. Оба они — трогательны в любви и нежности обхождения. Угадка её ДУШИ МОЕЙ — это что-то изумительное. Но она именно УГАДАЛА.

. . . . . .

. . . . . .

Ох, устал. Безумно...

Я вам с месяц назад написал письмо, под впечатлением знакомства с Мурахинами-Аксеновыми. Дед его, купец московский, во время занятия Москвы Наполеоном, СЖЕГ ВСЕ ДОМА СВОИ и превратился из богатея в бедняка. И вся порода их таковая. Оба — чистейшей души люди. Живут нищенски на заднем дворе, почти в лачуге. Им я думаю необходимо помочь.

Она смотрит лично на вас, как на героическую личность. Ваше мужество ПОЛИТИЧЕСКИ гораздо лучше, прямее, честнее „Утра России". Но особенно хороша была у вас передовая о лжи кадет, которые все именовали себя „конституционалистами", на самом деле будучи республиканцами, то есть, в сущности, будучи rentiers — социалистами.

Со ЛЖИ всё и началось...

В. Р.

Мурахины трогательно-нежно любят друг друга, обращаются друг с другом, и я в одном журнальце живописал их в статейке: „Идилия на краю вулкана" (то есть, революции). Не говорите им. В. Р.

Из письма за 1915 год, когда Розанов ещё жил в Петербурге на Коломенской 33:

— „Ведь полагают вообще, что консерваторами могут быть лишь солдафоны, чиновники и формалисты, а — не люди мечты, воображения и таланта. Вот это предубеждение надо разбить".

***

В вышеприведенных письмах Розанова упоминаются Голлербах, Мурахина и о. Павел Флоренский. Все эти лица интересны во многих отношениях и прежде всего по своей яркой даровитости, — но, будучи по природе своей скромными и по своим умственным и душевным настроениям чуждыми революционному бунтарству и социалистической демагогии, были всегда в тени и до революции и во время развертывания её бесовского шабаша. Иначе говоря, эти лица были „не у дел", не „в моде", были „под запретом" у тогдашнего российского общества и у тогдашней российской печати, рвущейся „к свободе", в „мир невыразимо прекрасного будущего", открыто и дружно подготовлявших „Февраль вольной жизни от гнёта царизма"...

ГОЛЛЕРБАХ, Эрик Федорович, ровесник автору этих строк, даровитый, чуткий и вдумчивый, знаток литературы и живописи, — обрусевший немец, царскосёл, сын булочника, — мечтатель и

очень непрактичный человек, — в сущности деловой бездельник. Литератор, критик и шаржист.

Работать в „Вешних Водах" начал рано, с конца 1914 года, давая главным образом критические статьи и свои шаржи, — скупые по линии, но удивительно талантливо, в „кривом зеркале" изображавших популярных в то время петербургских артистов, художников и литераторов. В переписку и личное знакомство с Розановым вошёл в 1916 году через „Вешния Воды" и как-то сразу стал у него „своим человеком". Свою переписку с Розановым, комментарии к розановским письмам и беседы с ним Голлербах летом 1920 года издал в виде небольшого формата, скромно, но изящно представленной книги. В 1924 году работал в Госиздате, заведуя художественным отделом. Автор этих строк связь с Голлербахом поддерживал до своего отъезда из СССР в 1926 году. Что было дальше с ним, как он жил — неизвестно. Известно только, что в 1925 году Голлербах сильно бедствовал, будучи без работы и без всяких средств.

МУРАХИНА-АКСЁНОВА, Любовь, москвичка, широко образованная и очень скромная дама, писательница, знаток древних историй, лингвистка. По природе своей „не от мира сего", жила как-бы вне времени и пространства, в каких-то далёких мирах и чувствовала себя ТАМ прекрасно, „как у себя дома".

Была постоянной сотрудницей „Вешних Вод" и состояла в тесной переписке с автором этих строк. Её перу принадлежит множество блестящих рассказов из античного мира и между прочим солидный сборник её повестей и легенд под общим заглавием — „Звезда Коринфа".

Зная языки не только европейские, но и древние, до санскрита включительно, Л. Мурахина великолепно разбиралась в Древней истории и в древних историках, — в ПЕРВОИСТОЧНИКАХ. И на основании этих первоисточников по новому освещала многие исторические моменты, их события и их героев. И очень часто под её пытливым пером „общепризнанные" исторические факты и зарисовки превращались в легенды, а отброшенные „легенды, суеверия и наветы" превращались в факты.

Вскоре после смерти Розанова и своего мужа-Аксёнова, летом 1919 года Л. Мурахина переехала из Сергиева Посада в Петербург и прожила у автора этих строк до осени. В сентябре она сильно простудилась, — слабый организм не выдержал обрушившихся испытаний и в середине октября 1919 года она умерла на больничной койке, — буквально всеми оставленная и позабытая.

Отец Павел Александрович ФЛОРЕНСКИЙ — профессор Московской Духовной Академии, был одним из первых русских ученых богословов, разоблачившим ересь учения о св. Софии. Это был

глубокий философ, богатый эрудит, ПОНИМАЮЩИЙ Розанова, его сложный мятущийся дух и его верность Христу и потому любивший его. Капитальный труд о. Павла Флоренского — „Столп и утверждение истины" остался мало кому известным все по той же причине — своей природной скромности и „несозвучности" с наступившей эпохой духовного разложения, беснования политических страстей и помрачния разума. Отец Павел Флоренский был фактическим главою московских славянофилов, но никогда не считал себя их „лидером". Автор этих строк не был лично знаком с о. Павлом, но знает о нем из своих бесед с Розановым.

5.

В конце 1916 года, совсем незадолго до февральской революции, Розанов предоставил в распоряжение „Вешних Вод" свою рукопись-монографию- „О Б А Н Т И Ч Н Ы Х М О Н Е Т А Х" с подзаголовком — „КАК И ПОЧЕМУ ПРИШЛО НА УМ СОБИРАТЬ ДРЕВНИЕ МОНЕТЫ".

Предполагалось эту монографию печатать по одному листу (то есть, по 16 страниц) в самом конце журнала — с таким расчетом, чтобы потом можно было эти листы вынуть из журнала и переплести их в самостоятельную отдельную книгу. Но революция помешала всему этому, — объем журнала из-за дороговизны пришлось сократить, а печатание монографии отложить. Так она и не была никогда нигде опубликована.

Письма о. Павла Флоренского о нумизматике Розанов не успел передать „Вешним Водам" в Петербурге за кровавым шумом революции и всеоб-

щем смятении. Таким образом, вторую часть монографии придется считать погибшей навсегда.

„Об античных монетах" — это, откровенно говоря, вовсе даже и не монография и уж вовсе не сочинение. „Для сочинения" нужен „сочинитель", а здесь то его как раз и нет.

Представьте себе, что в углу широкого низкого дивана — „оттоманки", забравшись на неё с ногами, сидит седенький человек в поношенном пиджаке и со сбившимся галстухом. На коленях у него коробка с табаком и гильзами и он набивает папиросы. Тут же рядом лежат монеты разные, старинные, медные и серебряные. Некоторые в „Варенькиных мешёчках", есть и в старых конвертах, и разложенные аккуратно в плоских ящиках — на фланеле.

И человек этот РАССКАЗЫВАЕТ, а не „читает лекцию", рассказывает НЕ обыкновенным языком, ну, вот как „бабушка рассказывает сказку", не спеша, останавливаясь, иногда улыбаясь и точно что-то вспоминая. И вы... СЛУШАЕТЕ, — ВСЛУШИВАЕТЕСЬ. Вместе с ним ТРОГАЕТЕ монеты, рассматриваете их и ОЩУЩАЕТЕ, „связь устанавливаете". Не столько умом постигаете тему, так ПЕСТРО и ЯРКО излагаемую, а душою, чувствами, и при этом наглядно, картинно, — именно ОСЯЗАТЕЛЬНО.

Рассказчик вводит вас в мир своей мысли, как в какое то удивительное царство, где для вас все СТРАННО, ново и интересно и СТРАННО понятно и где **для него** всё реально, — где самая „сухая", такая „скучная" и „слишком уж отвлечённая" и „далекая" тема вдруг превращается в живой трепет чего то не только глубокоинтересного, но близкого, простого даже милого и „конечно, нужного".

Таков Розанов, — таковы все его „сочинения", таковы его „Люди лунного света", „Литературные изгнанники" и многие герои его изумительного пера. Таковы все его монографии, единственные в своем роде, — единственные по широте и глубине понимания темы, по прозорливому её постижению, по живому её осязанию и соприкосновению с ней. Тут и история, и религия, и быт, и чувства личные, строго „эгоистические", „свои", — и сетования, и восхищения, и критика „свирепая", — и **магия** с её грозами и предчувствиями...

Поистине, розановские монографии, вообще „сочинения" — до крайности индивидуальны, оригинальны и своеобразны. Потому и читаются они ни как что-то СУХОЕ и СКУЧНОЕ, а как какой то диковинный рассказ, диковинно рассказанный, — ни то какая то живая сказка, быль, явь в лицах в действии, — вот у вас на глазах развертывающаяся во всей своей пестроте, подвижности, оживлённости. И осязательности...

„Сочинение" Розанова „о монетах" является конечно, единственным в мире по характеру, по стилю своего изложения, — наконец, по пониманию темы. ..Конечно" потому, что какое другое исследование по нумизматике можно поставить рядом с этим „сочинением о монетах" Розанова?

И кто из нумизматов когда-либо ставил перед собою и решал вопрос — „Как и почему пришло на ум собирать древние монеты"? А вот Розанову пришло на ум задать себе этот вопрос — по той простой причине, что в древних монетах он ВИДЕЛ историю народа, — видел во всем объеме внутреннее содержание этой истории со всей её мистикой. И монета в руках Розанова превращалась в ключ, открывавший ему „вход" — через века и тысячелетия в мир ЖИВЫХ теней, с которыми он любил и умел беседовать, вглядываться в них и рассказывать о них.

Второго ТАКОГО нумизмата мы не знаем. Нужно самому видеть Розанова с древней деньгой в руках, чтобы понять, почему он так любил собирать древние монеты, почему он как-то вдруг загорался, держа в руках какой-нибудь римский динарий, или греческую драхму, или афинский статер и почему, смотря поверх всего и всех, начиная оживлённо делиться своими впечатлениями сперва о какой-нибудь „запятой" или „ехидне" или „пухлень-

ких червячках" на монете, а потом об эпохе, событиях, лицах...

Но рассказывал Розанов об эпохе и событиях не как профессор на своих лекциях, за которыми обычно засыпают, а как древний философ, повествующий под тенью платана в знойный день о том, что МИР НИКОГДА НЕ УМИРАЕТ и что ЦЕННОСТЬ ПОЗНАНИЯ МИРА В ВЕКАХ — В ЕГО ОСЯЗАНИИ...

ОБ АНТИЧНЫХ МОНЕТАХ

Вместе с Павлом Александровичем Флоренским мы — заядлые любовники монет. В письмах мы то любимся, то ссоримся, спорим о земле и о небе; но когда глаза наши устремлены по одной оси и перед нами лежит греческая монета, то мы только потрагиваем за руку друг друга и уже не можем ничего говорить. Мир умолкнул, толпы нет: на нас глянула жизнь из-за двух тысяч лет, и завороженные ею мы ничего не видим и не слышим в „юдоли здешней", идеже бысть „скрежет зубовный и оканство". ,

Давно нам хотелось обоим соединить в одной статье мысли свои, занятия свои, а я мечтал всегда — и сердца. И вот пусть под „кое-чем" из нумиз-

матики, приводящей в забвение ум, как некогда игра Орфея в Аиде (если я не перевираю мифологию) наводила тоже экстаз и беспамятство, — пусть это наше давнишнее желание будет исполнено.

Буду чередовать отрывки его и свои, почти не приводя их в порядок: по бессилию, по старости.

Вот давно написанный отрывок, которым я думал доброхотного читателя „ввести в интерес собирания древних монет". Для этого я почёл за лучшее и простейшее — отчего и как начал сам собирать их.

КАК И ПОЧЕМУ ПРИШЛО НА УМ СОБИРАТЬ ДРЕВНИЕ МОНЕТЫ.

Собирание мною древних монет имеет, как ни странно сказать, — определенное историческое начало и почти мифическое рождение.

А. В. Орешников, ныне знаменитый нумизмат, — увы, по русской нумизматике, — в молодости купил значительное количество греческих и римских монет, — или числом 900 за 1.000 рублей или тысячу монет за 900 рублей. Две эти цифры я удержал в памяти, забыв, которая к чему относится. Это, без сомнения, те монеты, которые он упоминает в своём „Описании греческих монет Московского

Университета", как принесенные в дар этой almae matri из скромности назвав их „небольшим количеством".

На самом деле и количество и качество их было значительно. Показывая товарищу своему по учению, А. К. Белкину и мне это собрание, он отделил из него одну монету (дуплет), бронзовую Септимия Севера с изображением на оборотной стороне императора на коне, которого ведёт за повод нагой человек.

Было это в 1880 году. Монету я постоянно носил при себе в течение странствующей жизни учителя; и, по временам вынимая её, любовался. Глаз мой заметил, а душа была удивлена необыкновенною натуральностью — художеством изображения. Будь монета сделана в наше время, — ведение лошади всадника было бы изображено через фигуру ПЕРЕД НЕЮ ИДУЩЕГО ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ ДЕРЖИТ ПОВОД. Понурый слуга или чиновник, в приличной случаю или положению одежде, шагает впереди лошади, — шагает впереди: и только! Здесь поводарь взят в пол-оборот: нога его, которую вот-вот он перенесёт в новый шаг, уже отделена пяткою от земли, когда передняя нога стоит на земле всею ступнею. На монете видна ступня задней ноги в сгибе; прелестно выделяется её пятка! И сам он, ведущий не „лошадь", а поистине КОНЯ — полуобернулся на императора: каждый знает

до чего красива и выразительна фигура человека в этом полуобороте!

— Так не умеют теперь делать! — думывал я не раз.

Потом догадался о худшем, об обломовском:

— Так НЕ ХОТЯТ делать! Ну, зачем представлять человека „идущим", когда можно представить его просто „растопырившим ноги", что конечно „сойдёт" для казенного ведомства, заказавшего резчику монету... И „оборачивающегося": это просто даже и не пришло резчику в голову, да и не было бы ему позволено: „Зачем оборачиваться?"... Нечто дерзкое в отношении императора, не церемонное, не служебное...

Э, нищие! Нищие, дохлые и клячи...

Так говорил я, пряча монету обратно в карман.

Под ADVENTUS AUG стояло волшебное SC — Senatus Consulutu как я уже знал из объяснения Орешникова. Маленькое объяснение нашей исторической дохлятины. Но SC было совершенно стерто: и только, лизнув монету и отведя ее в сторону, поворачивая так и этак, можно было видеть эти две буквы, говорившие о Риме больше, чем Кюпер.

Волшебный рай...

и прочее, как вздыхали наши поэты.

Монету эту я носил про себя и для себя, эгоистически. Но изредка показывал её ученикам

Брянской, Елецкой и Бельской гимназии, — приблизительно с теми комментариями, какие написал сейчас. Ученики также как я восхищались живостью и натуральностью изображения. Я убежден, что горсть римских республиканских динариев, данных классу для рассматривания, сказала-бы им больше о древнем мире, чем мертвые рисуночки, продукт НАШЕЙ ТЕХНИКИ, приложенные к их 75-копеечным учебникам. Но наш „классик", Д. А. Толстой едва-ли знал, что в Риме были „динарии"; и через это последние избавились от унижения, „нести службу" в его ведомстве...

Бог с ним...

Который-то ученик в Бельской прогимназии, в ответ на показанную классу монету Септимия Севера, — принес в класс и подарил мне взятую „от мамаши" неизвестную монету. Сейчас же я определил, что это была арабская монета. Она вышла очень удачная: лет 12 спустя А. К. Марков определил её, как диргем (?) Гаруна-Аль-Рашида, отчеканенный в городке, коего не значилось в эрмитажном собрании. Я просил его принять её в дар, — и ныне эта монета Бельского гимназиста будет вечно сохраняться в шкафах Эрмитажа, до скончания русского царства. Такового скончания, станем надеяться, не будет.

Затем во внутренних городах России я никогда не видел ни одной древней монеты; а в библио-

теках гимназий не видал никогда ни одного сочинения по нумизматике. Россия была ГЛУХА, абсолютно глуха к миру древних монет; и отношение её к ним можно бы выразить вопросом спросонья:

— А разве они есть?

Как я не смеясь и не шутя говорю, что Толстой вероятно предполагал, что в Риме расплачивались „рублями" и „копейками", — при том не полновесными, „нашими", — так точно вообще нельзя было встретить в России человека, имевшего-бы какое -нибудь представление о нумизматике. Только знакомясь с сочинениями Владимира Соловьева, я где-то прочёл у него в публицистике:

„...бывают всякие науки, в том числе и смехотворные: есть например наука — НУМИЗМАТИКА или ещё преподаётся в училищах государственного коннозаводства наука о копыте кавалерийской лошади"...

И пошёл, и пошёл наш остроумец: во фразировке этой мысли я могу ошибиться; но не ошибаюсь в том, что меня поразило — в сравнении НУМИЗМАТИКИ с отделом конюшенного ведомства. Только когда в кабинете А. К. Маркова я увидал на стенах портреты — как наших „Пушкина и Гоголя" — знаменитых нумизматов — вероятно, де-Сольси, Бабелона и других, я измерил всё самоуверенное невежество Соловьева.

В первый раз русского, „поверившего в нумизматику", я встретил в Кисловодске. Это был персиянин-часовщик, лет за тридцать. Худенький, черный. Торговал в лачуге-лавченке против „галлерей". На столике у него я увидал несколько серебряных монеток и, обомлев, прочитал на одной

FAUSTINA AUGUSTA

А на другой:

IMP. C. VESPASIANUS...

— Боже мой! Боже мой! Фаустина, жена Марка Аврелия, философа, — моего любимого, нашего русского любимого! Неужели это подлинная?!! Но такой вид, как будто подлинная.

И Веспасиан, разрушивший Иерусалим! Неужели от тех пор? И надписи ясны, монеты совершенно сохранились, не как моя Септимия Севера, почти стершаяся, некрасивая. Как красива Фаустина: сколько достоинства и гордости в лице. Римская женщина, подлинная римская женщина, вот из тех, о ком пишет Кудрявцев в „Римских женщинах". А это ... почти, увы, стертая — Августа: сзади что то непонятное: два кружка, две палочки и около них пухлые червячки. А это Николай Чудотворец ... почему она попала в ДРЕВНИЕ монеты? А как сохранилась!

На лицевой стороне прекрасной серебряной монеты было иконное изображение св. Николая, в архиерейской митре, — с чертами строгими и суро-

выми, как всегда и пишут этого святого, давшего пощечину Арию...

— Хорошо. За римские я даю по три рубля; Августа — стерта почти, но Бог с вами — даю и за нее три рубля. Но это — дешевле? — указал я на Николая Чудотворца.

Персианин посмотрел на меня злобно и гневно:

— Аршок! Тысяча лет! Больше тысячи лет!

Он выкрикивал прямолинейные предложения, очевидно, не владея языком.

Продолжая совершенно недоумевать, как „св. Николай Чудотворец" попал на монету, — и следовательно что эта за монета — я дал и за неё три рубля. Что было изображено и написано на обороте — я совершенно не понимал. Не мог уловить...

Это был Сапатрок, — парфянский царь. Древность — более 2,000 лет. Портрет его действительно до удивительности совпадает, — но только в профиль, — с Николаем Чудотворцем. Шапкообразная, украшенная жемчугом, тиара парфянских царей, — даёт полную иллюзию архиерейской митры.

Чтобы кончить о „мифическом периоде" собирания мною монет — передам ещё о нумизмате, торговавшем на Гороховой улире (в СПб.). Увидя на окне его лавочки среди старых русских и несколько римских монет, я вошел в нее. Было узко, тесно и не очень светло. За прилавком сидел в ту-

лупе бледный, сморщенный старик, — или молодой похожий на старика. Это был несчастный скопец („скопцы-менялы"). На мой вопрос он распорядился „подручному" подать мне, что требовалось (с окна дощечку с монетами).

Я копался. Отбирал. Не решался. Ничего не было интересного.

Скопец сидел неподвижно. „Подручный" его был тоже скопец.

После выбора, — или нерешительности, — он спросил „подручного", желая знать, какия я выбрал монеты.

Тот, не понимая выбора, был в затруднении, как ответить. Дело в том, что среди монет были и татарские, как известно — с надписями и без изображений. Тут-то и сказалось „первое нумизматическое сведение", какое я услыхал от природного русского: ибо на Кавказе со мной говорил перс.

— Какия они отобрали? — спросил он про меня.

Молчание. Он пояснил:

— Если с головами — значит РИМСКИЕ.

„С головами"... В самом деле, мусульманские — „безголовые" Первое большое деление нумизматики...

***

В 1899 году П. П. Перцов, известный писатель, — много путешествовавший по Италии, — вернувшись из родного „гнезда" в Казани, зная мою страсть к древним монетам, подарил мне горсть драхм и 1 афинский статер. Отнеся их в Эрмитаж — я показал их доброму хранителю последнего, А. К. Маркову, — преподавателю нумизматики в Археологическом Институте. И как „профессор" всякому бы студенту, — он мне назвал города и страны — Синион, Аргос, Фессалию, Ахейский союз городов, Афины, Флиус и проч., где чеканились монеты.

— Подлинные? — спрашивал я испуганным голосом.

— Никакого нет сомнения, — ответил он мне равнодушно.

Такое равнодушие!

— Но какого же века? времени?

— Афинский статер не позднее V-го века...

— Времени Перикла?!!! — я не смел верить ушам.

— Да. И Пелопонесской войны.

Также равнодушно и спокойно.

— Эти же позднее, четвертого и третьего века.

И ушёл в исторические и мифологические объяснения.

— Синион...

— Но почему вы знаете, что эта монета — „Синион"?

— А маленькое Е под Химерой.

— Какой „Химерой"? Это — лев?...

— Лев, коза и змея, — вместе соединённые: видите, змейка поднимается над спиною льва.

Действительно — „змейка": почему же я раньше не видел?? И Е: но почему он знает, что Е значит: „Синион"? Почему он знает Флиус?

— А протома была.

— Какая „протома"?

— Передняя половина быка, -- ответил он нетерпеливо. И Ф и четыре точки. Это — монета Флиуса, в Пелопонесе.

„Боже мой! Боже мой! Почему же этого нет у Иловайского, — когда это так интересно и ново".

Полная и большая фигура Маркова была невозмутима. Он охотно объяснял. Но уж очень спокойно. Нисколько не волновался: и хотя с интересом пересмотрел в лупу все мои монеты, но нисколько не был ими изумлён, ни восхищён. Между тем он видел Химеру, — сделанную людьми, ВЕРИВШИМИ В ХИМЕРУ!!

Только через год и вообще „со всем ознакомившись" я не мог не догадаться, что единственное отношение, какое он мог чувствовать к моим „всё новым и новым сокровищам" — было ощущение скуки и что я его отрываю от занятий. Но

— неистощимо терпеливый — он не показывал и вида.

— Но где все это прочитать?

— Есть атлас Цыбульского, изданный Вольфом.

Купил. За 4 рубля. Но это — сделанная „во вкусе Толстого" возмутительная по невежеству мазня царско-сельского учителя гимназии. Смешное в „объяснениях" составляло то, что он, при указаниях на монеты, все делает ссылки: „Хранится в Британском музее", „Находится в Берлинском мюнц-кабинете". Тогда как все это, то есть, эти монеты хранятся в Эрмитаже, в Петербурге: но ему из Царского Села лень было дотащиться до Эрмитажа, и он „содрал" ИЗОБРАЖЕНИЯ из печатных изданий иностранных музеев, никогда и в глаза не видав подлинных монет, ни — Лондона, ни — Берлина!!

— Да, этот „иностранец из Лондона и Парижа" всего только шьёт скверные пальто на Гороховой. Но что же сделали русские? Например, Марков?

Я не мог внутренно не упрекнуть его. Он подарил мне тогда свои изящные:

Les monnais des rois parthes. Supplement a l'ouvrage de M. le comte Prokesche-Osten. Par Alexis de Markoff. Paris. 1877.

Две, квадратной формы, тетради-книги, с превосходно выполненными изображениями монет. Тут-то я рассмотрел и своего „Николая Чудотвор-

ца"... Вся книга полна изящества (изложения) ума и необозримой учености.

— Но отчего вы это написали по-французски? — спросил я его раз с полу-упреком.

— Потому что это французам нужно, — ответил он равнодушно.

„А русским" ... подумал я.

— А русским? — спросил я вслух.

— Ну, пять-шесть человек. Разве для 5-6 читателей можно издавать книгу?

Позднее, занимаясь по „Каталогу греческих монет Британского музея", — я увидел в подстрочных примечаниях ссылки на этот труд Маркова. И передал ему:

— Да. Вскоре по появлении на французском языке, кто-то перевёл её и на английский. И англичане пользуюся.

Всё также равнодушно. „А на русский" — никто не перевёл. Ни одному студенту не пришло этого в голову.

— Ну... Верно социал-демократией занимаются. Что русскому студенту до парфян.

— Хоть бы вы своих слушателей в Археологическом Институте заставили?

Он повёл плечами. Я опять сетовал.

— Но как же я их „заставлю", если они ничего в НАУКЕ НУМИЗМАТИКЕ не понимают. Они напутают и испортят.

Я вспомнил Соловьева (Влад.) и Цыбульского.

***

Всё делается постепенно.

И я узнал, что уже не такое полное отсутствие нумизматов в русской земле: как тихие тени, они прилетают в Эрмитаж, в его полу-светные залы и, пробираясь по высокой лесенке „на верх", в „святилище науки", — около сторожилов Эрмитажа, А. К. Маркова и О. Ф. Ретовского, определяют монеты, составляют их описания, делают сургучные слепки (особого состава мягкий сургуч) с интересных эрмитажных экземпляров, и, словом, „входят в подробности". Это слова незабвенного Х. Х. Гиля, как то мне сказанные:

— Всякая вещь становится интересна из своих подробностей. Так и нумизматика: пока вы не начали её ИЗУЧАТЬ, то есть, с лупою в руках не начали знакомиться с ПОДРОБНОСТЯМИ каждой монеты, все они и ВСЯ НУМИЗМАТИКА кажутся неинтересными.

Истинно. Как и то, что „взяв лупу" и раскрыв книги — уже не расстанешься с нумизматикою.

Позднее я узнал превосходный, — ПО ТОЧНОСТИ И НЕОБОЗРИМЫМ ПОДРОБНОСТЯМ, — труд Бутковского-Глинки.

"Petit Mionnet de poche ou repertoire pratique a l'usage des numismatistes en voyage et collection-

neurs des monnaies grecques, avec indication de leurs prix actuels et de leurs degre de rarete par Alexandre Boutkowski-Glinka. Berlin. 1889".

Это в своем роде „Бедекер" нумизматики: старательность, с которою составлена эта книга (увы, — начало только труда, не конченного за смертью автора), введение автором множества монет, оставшихся неизвестными знаменитому Mionnet, — точность, пунктуальность, научность — всё делает труд этот именно „Бедекером", незаменимым „спутником" собирателя древних монет!

Ах, — если бы труд этот был написан по-русски: давно-бы он уже толкнул русских к занятию этою интереснейшею стороною классического мира! Как он написал в другом своем труде:

„Нумизматика или история монет древних, средних и новых веков. Составил А. П. Бутковский. Москва. 1861".

В этом-то труде он и выразился (стр. 2):

„...Масса античных монет представляет собою как бы одно металлическое зеркало, в котором отразился весь древний мир с его произведениями и постепенным развитием искусства".

Это — самое лучшее определение нумизматики, какое я знаю и какое можно представить себе: определение художественное, открывающее самую сердцевину её, причину её интереса, занимательно-

сти, нужности. И далее Бутковский продолжает — изъясняет:

„Присущие гражданскому обществу, в разных его состояниях, древние монеты разъясняют нам: жизнь городов, законы, бесчисленные учреждения, войны, завоевания, заключения мира, перемены правлений, торговлю, колонии и народные союзы; увековечивают собою пресекшиеся роды и фамилии и сохраняют в живом воспоминании личности великих людей" (там же).

Это открывает значение нумизматики как самостоятельной, САМОЦЕННОЙ науки, — а не как „пособия" только, не как ВЕТВИ археологии... Отсюда-то, из САМОЦЕННОСТИ нумизматики, и проистекает тот неистощимый энтузиазм, какой владеет всеми нумизматами к своему предмету: они вовсе не зачитываются трудами ПО ИСТОРИИ Моммзена, Курціуса, Грота; жар их собственно КАК К КНИГЕ, как К ЧТЕНИЮ или не велик, или очень велик. Они рассматривают и рассматривают... Что-же они рассматривают? Да „металлическое зеркало, отражающее весь древний мир": СЕЙЧАС отражающее, ПЕРЕД ГЛАЗОМ нумизмата, как-бы этот мир ещё жил, волновался, никогда не умирал!

„НИКОГДА НЕ УМИРАЛ" мир, на самом деле давно ушедший в могилу.

Вот сердце нумизматики.

Понятно „рассматривание" нумизматом предметов своей науки. Оно подобно очарованию и волшебству: с лупою в руке, „на верху" Эрмитажа, Ретовский или Марков, держа в руках золотой статер (неразборчиво), с головою Пана, — и львом, держащим в пасти конец сломанного дротика (сцена древней охоты), — вовсе забывают, что они „русские", что они „служащие в Эрмитаже", что они „получают жалование", что они „носят мундир"; но, как писал Лермонтов:

...погружая мысль в какой-то смутный сон
Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда...

— откуда вот взяли эту монету: про Паинич копею, Ольвию, про ... весь, весь древний мир.

НИКТО НЕ ИМЕЕТ ТАКОГО ОСЯЗАТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К ДРЕВНЕМУ МИРУ, КАК НУМИЗМАТЫ: вот источник их энтузиазма, рвения, — и необозримых, изумительных трудов, какие они написали!!!

Нумизматика, — само по себе, ОДНА, количественно обширнее, книгами и сочинениями богаче, нежели все отделы древней истории, в совокупности!!

Конечно, — это вполне самостоятельная наука... Даже бедно сказать — „наука": нумизматика переступает обычные определения „науки", как некоего ЗНАНИЯ, ВЕДЕНИЯ, как некоего ОТКРЫ-

ВАНИЯ нового. Ибо она, содержа в себе труднейшие знания совершенно точного характера, относящиеся к палеографии, истории, и проч., и проч., есть именно...

— ОСЯЗАНИЕ древнего мира и всего, что отсюда проистекает.

Журналы нумизматические, — и статьи в них помещаемые, как и необозримые томы, посвященные ИЗУЧЕНИЮ древних монет — работают над бездною вопросов, ВОЗБУЖДАЕМЫХ нумизматикою, при ПОСОБИИ историков и археологов древнего и нового мира, но это — не всё. Это — „наука", в обычном определении её; но нумизмат волнуется и движется не только этим: его толкает, поддерживает в неусыпных трудах, волнует именно ЗРЕЛИЩЕ, и без „живых монет", только по книгам и с книгами — невозможно сделаться „нумизматом". Невозможно (как во всех прочих науках) — прочтя сто книг — написать к ним 101-ую. Так выйдет „Цыбульский", а не „нумизмат".

Где-же здесь секрет ещё? Не захватывая ВПОЛНЕ дела, — мы скажем только о художестве, о эстетике. „Эстетика" — древнее слово, и значит — „ощущение": „эстетика" у древних была физическою, чем теперешняя наука „эстетика", которою занимаются совершенно неуклюжие профессора, ни разу не полюбившиеся ни женщиною, ни статуею. Нумизматы вот и суть последние „эстетики" в древ-

нем смысле: мотивом их научных трудов и двигателем всей их жизни служат столько-же „интересы" в сухом смысле „науки", палеографии, истории и проч., сколько и „осязательный восторг", ими овладевающий при всматривании в гипнотизирующее „металлическое зеркало" древнего мира (Бутковский). Тут входит много эстетики: но, в конце концов, есть немножко и магии... От античного мира с такою безграничною любовью рассматриваемого, отделяется что-то наконец живое, воскресающее — и входит в нумизмата, будя в нем древнего человека, через атавизм, полу-зоологический, полу-исторический...

Как в Лермонтове заговорил предок „шотландец Лерма", так в нумизмате пробуждается „старьевщик" древних Афин, „торговец" Александрии, "soriba" или "cives" Рима, а то и целый „сенатор" Вечного Города: и вот это „пробуждение древнего человека в современном" и составляет живой нерв нумизматики. На этой ступени — и для всех нумизматов она есть подлинная и действительная — нумизматика, „сия бедная наука", которой дал такое определение Влад. Соловьев, обращается только в СРЕДСТВО: и, не замечая сами того, нумизматы пользуются предметом своим, и „наукою" и живыми монетами, как орудием... От этого, как я заметил по Х. Х. Гиле, они не умирают с тоскою: „Ах, вот еще НУМИЗМАТИЧЕСКИЙ ВОПРОС НЕ РЕ-

ШЁН" и „доживу-ли я до решения (такого-то) НУМИЗМАТИЧЕСКОГО ВОПРОСА", но умирают или близятся к смерти вполне насыщенные... Как пчела с полною ношею меда, летящая в улей...

Нумизмат всегда доволен. Ничего не „ждет"... Что же сообщает это довольство, эту насыщенность, эту готовность умереть всякий час?.. Откуда это отсутствие ТОСКИ и НЕДОУМЕНИЯ, присущих всякому горячему ученому, перед которым „так много ещё вопросов не решено". Да в одном:

— Я смотрел... И насмотрелся...

Это чувство художника, эстетика...

Полны — человека магически воскресшего в древность, погулявшего по рынкам Александрии, видевшего Арсиною и Веренику, с этим красивым покрывалом на голове, так хорошо легшим в складку около шеи, под затылком... Путешествовавшего в далекую Нумидию и Карфаген, — где видел символ Ваала, — будто принимающего на руки младенца-жертву (брррр...); по городам Малой Азии, шумным, сплетничающим, воюющим бесплодными войнами и торгующим богатым торгом... Посмотрел на персов, тогда ещё мудрых, на их „феруэры" — души, поднимающиеся в жертвенном пламени над алтарем Ормузда... Послушал вестей из Бактрии, из Афин, Колхиды. И говорящего:

Теперь в могилу. В их прекрасный Элизий, где я увижу Ахилла и Mionneti.

Все сыто. Счастливо. Закруглено.

И почти главное для наших скучных времен — „действительные статские советники" отшвырнуты к чорту.

***

Итак, нумизматика подобно чтению "Contrat social" Руссо: будит мужество, восстанавливает здоровье, делает человека сильнее духом и телом. Все нумизматы долго живут: „древние тени" питают их, как Одиссея, принесшего жертву Тирезию.

Нумизматика есть немножко „древнее жертвоприношение", — последнее оставшееся нам.

***

Около магии — мифы, сказки, угрозы, предчувствия...

„Удивительно", — передал мне один нумизмат, — „все торговцы древними монетами имели трагическую судьбу... Или разорялись, — а некоторые даже кончили самоубийством". Он назвал несколько имен Берлинских, Мюнхенских и Парижских торговцев, сейчас забытых мною. „Вы знаете, — Беккер, ученый нумизмат, унизившийся до подделки (изумительной!) древних монет, — повесился. Но вообще — все кончали печально. И торговля нумизматическая сейчас в руках одних евреев. Они выжили и богатеют"...

Он рассказывал это мне как „обыкновенную историю", между тем как это — миф и религия:

"SACRA MONETA" — надпись на поздней монете Констанция Хлора. Могли-ли бы мы рубль или копейку назвать "sacer rubl", "sacra copeica"? Какое несовместимое значение слов: „священный" — ДО БОГА ОТНОСЯЩЕЕСЯ, С БОГОМ СВЯЗАННОЕ: а „рубль" и „копейка" — сюжет менял — скопцов на Гороховой, определивших „римские монеты".

Что же это значит?!

МОНЕТА у нас — надела фрак и танцует, а в древности она носила тогу и приносила жертву богам. То есть? Ещё я прочёл на английских монетах Августа: "ARXIEREUS" — „Архиерей"... Август, усыновленный Цезерем, муж Ливии, отец Юлии, тесть Агриппы — был... „архиереем"!!! Я почти вскочил со стула, когда прочел это в „металлическом зеркале" красивой сирийской монеты. Этого нет не только у Иловайского, но и у Моммзена.

Одно слово хлынуло на меня потоком света: да, конечно, „религия" для древних, как и их „боги" — были вовсе не то, что теперь нам объясняют в семинариях: что то бесконечное, весь мир держащее „в узде" („покорности") и с другой стороны — непременное, как „Отче наш" в таком то месте обедни. Все было иное... Какое? Но договорим: от всего мира шла религия, от облаков в небе, от дерева в лесу, их "cives" были соединены „религиею", волчица с Ромулом и Ремом на Капитолии — была ихнею „иконою", сенат был „иконообразен"... На

греко-римских монетах так и читается "IEPOC CVYKANTOC" („Святой Совет")...

Всё „иконообразно" и вместе священно... Точнее — всё шумит, делает, трудится, предпринимает, объявляет войны, заключает миры, „посоветовавшись с богами", испросив у них „знамений" и „указаний" (в жертвах, через рассматривание внутренностей заколотого по ритуалу животного). Что же это такое? Жизнь шумит, „свещена" и ... „иконообразна". „Религия" не имела того тяжеловесного, страдальческого, трудового, „везущего воз" значения, как у нас: и не носила той „мундирности", „ризности", как у нас же: всё было легче, в туниках, в тогах, в легком фимиаме, поднимавшемся от жертвенника, — всё было прозрачнее и чище, невиннее и бесполезненнее, чем у нас.

И как фимиам от жертвы не замыкался в построенном зданьице, а нёсся по полям, на торг, на форум, везде, всюду, — так этою ещё „легкою религиею", без „ордена" Станислава 3-ей степени, был обнят весь древний мир, и торговец, и моряк, и воин...

— Как же бы Беккеру было не удавиться: он подделывал древние "sacrae imagines", sacras monetas"! Делал — ИДОЛЫ, когда обязан был только вырывать из земли подлинные! Он совершил святотатство — и погиб.

— Да и торгующие... Не сдобровали, потому что торговали собственно „иконками" древности, принимая их как скопцы-менялы за НАШИ „гривенники" и „рубли", без священного в них значения... И были наказаны богами. Боги, древние, гневные и ещё живые боги — наказали за „неподобное" обращение с частицами своего культа, своей религии, своих храмов — каковыми были тогдашние „сикли", „драхмы", „статеры", „динарии", „асы", — „священство" коих было настолько велико и, главное, чувствуемо, осязаемо, что царям до позднего времени и в голову не приходило выставлять на монетах свои изображения, imagines humanae.

Только позже, когда в этой „легкой как дым" религии цари, совершившие изумившие мир подвиги как „чудотворение" — начали ощущать себя „богами", „Феос" (титул многих царей на монетах) — тогда уже как „Феос" они начали помещать на монетах и свои изображения, чередуя их с „небожителями-героями", как Геракл, с местными нимфами, с жрицами и вакханками и, наконец, с самими богами и богинями. На монетах Филиппа Македонского — Аполлон, его сына Александра — Геракл: но Гераклу с его символами и одеянием (голова, обернутая в шкуру Немейского льва) придавались черты лица царя; и изредка (на монетах, чеканен-

ных в Родосе) — подлинный портрет Александра Великого; и все же с сохранением символов Геракла.

— Как же было торговцам не разориться. Гневные боги рассеяли их богатство... Сломали хижины, пустили по миру семью. И пощадили только евреев, которые к „монете" имеют совершенно другое отношение, не циничное и неуважительное, а какое подобает древнему человеку — религиозное.

Еврейская вера — ветвь древнего богопочитания. Из Рима присылались жертвоприношения в Иерусалим, как-бы пересылались „свечи и масло" с жертвенников Капитолийского Юпитера на жертвенник Элохиму... Но не „Иогове", специальному богу одних только евреев. Евреи поклонялись Богу под двумя именами: Иегове — это было открыто ДЛЯ НИХ ОДНИХ; и Элогиму — под каковым именем они Его чтили вместе со всеми народами, как Творца Вселенной.

И еврейские первосвященники, вот о коих мы учим в „Законе Божием", будто они „всех чужих богов отвергали", РИМСКИЙ Фимиам курили на своем жертвеннике. Вот отчего евреи, торгуя „древними образками" (sacra moneta Констанция Хлора) — и не разорились естественно: Афина или Посейдон, как и древние вакханки и нимфы — на них не гневаются, как на „своих". Как на себе „двоюродных",

как на своих „дедов" и „теток" — племянники, племянницы — и внуки и внучки...

Но этой гипотезы, полной своей уверенности, я ученому нумизмату не сказал. „Осудит за безбожие, ны осмеет, как окаяну". Но „сказки" милы богам.

***

Однако, я все мало подвигаюсь в изложении предмета.

А. К. Марков „ввел" меня в познание нумизматики, — как я стал собирать монеты, именно как "sacrae imagines', как часть древнего „веще-почитания".

Кстати, как у нас просфоры пекут „при церкви", — непременно при ней и ТОЛЬКО ПРИ НЕЙ, так естественно древние монеты чеканились ПРИ ХРАМАХ. И слово "sacer',, как и характер отношения к монетам древних, можно изъяснить через сближение с нашими „просфорами": это и не „святой" и не „священный" даже, но „чего нельзя касаться всуе". Ни — „лгать около этого" или „обманывать". И, думается, торговля долгое время уже оттого должна была быть честною, добросовестною и строгою, что средством её были эти „просфорки" из металла, около которых лукавить было „грех".

Римские монеты чеканились при храме богини Юноны: её римляне почитали невидимою покрови-

тельницею монетного мастерства, и помогающею резчикам и чеканщикам в их трудном и тонком искусстве. Поэтому среди других своих „призваний" Юнона носила и это — JUNO MONETA.

Следом на рукописи сейчас же — наискось рукою В. В. Розанова стоит крупными буквами:

ДАЛЬШЕ ПИСЬМА ФЛОРЕНСКОГО

**
*

Не в качестве комментарий, а в виде беглой Заметки хочется отметить историческое значение этой розановской монографии „Об античных монетах". Историческое значение этой монографии среди обширной нумизматической литературы заключается в том, что она разбирает царство античных монет, подходит к этому царству, воспринимает и ощущает это царство исключительным его пониманием, — раскрыванием внутреннего содержания древней монеты, то есть, самого ценного, что в ней есть, — ради чего и стоит держать древнюю монету около себя или быть около неё, чувствовать её мир, — мир, связанный с этой монетой, жизнь этого мира.

Автор этих строк сам одно время собирал древние монеты и интересовался всем, что писалось о них и говорилось в среде нумизматов, — и ни разу не приходилось встречать подхода к древней монете, подобного розановскому. Казенный взгляд на нумизматику и суконный язык описания монет Розанов раздвигает до пределов философии и ми-

стики. И делает он это попутно, в процессе ОСЯЗАНИЯ МОНЕТЫ историческим взглядом, — взглядом историка-провидца вглубь прошедших времён.

В лице древней монеты Розанов видит не металлический кружок с каким то изображением и с какой то датой, а как бы окно, через которое он смотрит на античный мир, тут же сейчас в живой действительности развертывающийся перед ним в образах и событиях. И перспектива во времени позволяет его гениальному уму делать выводы, заключения, „догадки" и „сказки, милые богам", которых не найдешь ни в книгах, самых серьёзных, ни в „компетентных" трудах ни по нумизматике, ни по истории, ни по археологии.

В этой своей монографии Розанов раскрыл не только возможность, но и необходимость „подходить к предмету" не с хроникёрской точки зрения „обозрения и записывания", а в плоскости ОЩУЩЕНИЯ ПРЕДМЕТА и через то ВОСПРИЯТИЯ ЭПОХИ. Розанов показал, что нумизматика, а за нею или вместе с нею, история и археология, — каждая самостоятельно и по своему несёт в себе то веяние живой жизни, которое, умирая по форме, бессмертно по существу. То, что Август был архиереем, заставило затрепетать Розанова, он „почти вскочил со стула", когда прочел это на сирийской монете и сейчас же почувствовал, увидел и ощутил тот „поток света", который позволил Ро-

занову осязательно понять, что религия для древних, как и их боги, были „вовсе не то, что теперь нам объясняют". И рассказывает о том, чего „нет не только у Иловайского, но и у Моммзена".

Это только крохотный кусочек того, как подходит Розанов к нумизматике в целом и, в частности, к древней монете. Конечно, если бы и археологи, и нумизматы, и историки подходили „к предмету" по розановски, то о прошлом мире мы знали бы не только, „хронику происшествий" в плоскости репортерских записей, но и самую жизнь ушедших времен в её живом виде и незабываемом. И возчувствовали бы живую связь прошлого с настоящим и настоящего с будущим и как бы реально ощутили прошлое и будущее сущим в одном настоящем. И не скользили бы в пропасть наших дней всё-обезличивающей серости...

Но Розановым сделаться нельзя.

Однако, что мешает уяснить путь Розанова и вступить на этот путь и через археологию, нумизматику и историю ПО РОЗАНОВСКИ ближе разглядеть наше историческое „вчера", чтобы нащупать наше историческое „завтра"? А не плестись кобылкой, то задрав хвост в слепом восторге перед кузнецами нашей эпохи ... тьмы и скорби, то опустив этот хвост в слепом невежестве и духовном бессилии.

Как видит читатель, отношение Розанова к древним монетам далеко оставляет позади себя „собирание, хранение и знакомство по каталогу". Собирание и хранение это всего лишь первый элементарный и внутренно до предела ограниченный шаг, по существу ничего не дающий культурно ценного. По мысли Розанова истинным нумизматом является тот, кто умеет через металлический кружок древней монеты ВИДЕТЬ жизнь ушедших дней и ощущать за отмирающими формами этой жизни её нити, тянущиеся из прошлого в будущее.

В том именно и заключается ИСТОРИЧЕСКОЕ значение данной монографии Розанова, что она первая и единственная в познании мира ушедшего открывает пути к нащупыванию мира грядущего, — не того, который стряпают современные „архитекторы", а того, который по природе самоцветен и свойствен каждому народу.

И роль древней монеты в данном случае является исключительной, — нужно только суметь очистить эту монету и путь к ней от мусора текущей суеты.

Сокровенная сущность нумизматики сводится к раскрытию подзаголовка розановской монографии — „Как и почему пришло на ум собирать древние монеты", к решению этого вопроса с добавлением к нему: — кому именно приходит на ум собирать древние монеты. Ежели спекулянту, то тут и

разговаривать не о чем, а ежели уму пытливому и эстету, то „собирание и хранение" раздвигается до рамок познания мира в его целом, — со всеми его духовными ценностями. На эту то сторону нумизматики и указывает Розанов, — указывает так, как это сделать мог только он один.

6.

Летом 1924 года, окончив Петербургскую Академию Хидожеств, я получил звание архитектора-исполнителя и сейчас же начал хлопотать о выезде из СССР в Зап. Европу, где были у меня родные, друзья и знакомые. Хлопоты были изнурительные. В Москве в комиссариате иностранных дел мне откровенно заявили: — „Мы вас одного можем выпустить, но вся ваша семья должна остаться здесь в качестве заложников. Или наоборот, мы семью вашу выпустим, но вы останетесь в качестве заложника". И только в первых числах января 1926 года на повторную просьбу я получил извещение о том, что мне разрешается со всей семьей (мать, жена, сын и дочь) выехать в совершенно незнакомую и во всех отношениях чуждую мне Персию, куда я и прибыл в конце февраля того же 1926 года, будучи взят там под защиту персидских законов.

Прожил я в Персии около 15-ти лет, работая сперва как архитектор персидского Красного Креста (строил больницы), затем как архитектор гор.

Тегерана (строил Большой Оперный Театр и имел частную практику) и под конец как архитектор Высочайшего Двора (заново реставрировал знаменитый Сафиабадский дворец начала XVIII века, в северной провинции Мазандеран).

Моя первая связь с зарубежными издательствами установилась в 1927 году с парижским журналом Высшего Монархического Совета „Двуглавый Орел", редактором которого в то время был известный Н. Е. Марков 2-ой. Моя первая статья „К открытию Русской гимназии в Тегеране" напечатана в ноябрьском №-ре „Двуглавого Орла" за 1927 год. Затем в том же журнале были напечатаны две мои статьи — „О мёртвых душах российских времён Государственной Думы (В. В. Розанов)" в июльском №-ре „Двуглавого Орла" за 1929 год и „В. В. Розанов о Церкви" в августовском №-ре того же 1929 года.

Все рукописи и письма Розанова мне удалось вывести заграницу. То были годы НЭП-а. Это дало мне возможность в начале 1939 года опубликовать в берлинском „Русском Национальном Издательстве" первое издание моей книги под заглавием — „В. В. Розанов в последние годы своей жизни". С подзаголовком на титульном листе — „Среди неопубликованных писем и рукописей".

В декабрьской книге парижского журнала „Возрождение" за 1960 год был напечатан мой

очерк о Розанове (на 14 страницах) в котором я анализирую гениального писателя как философа, мистика и провидца. В богословско-философском ежегоднике „Православный Путь" издания Свято-Троицкого Монастыря в Джорданвилле (под Нью Йорком) за 1965 год опубликовал мой очерк — „В. В. Розанов. Из личных воспоминаний" (на 18-ти страницах), где я характеризую Розанова как богоискателя, верного Богу, Царю и Отечеству.

Здесь же попутно отмечу моё пребывание в Шанхае, знакомство с редактором популярнейшей на Дальнем Востоке газеты „Шанхайская Заря" Л. В. Арнольдовым, синологом, философом и талантливым публицистом. У меня сохранился №-р этой газеты от 16 апреля 1942 года с его статьей — „Ещё и ещё раз о Розанове". Эту статью Л. В. Арнольдов начинает так:

— Сегодня соберутся своим кружком петербуржцы для повторного доклада о Василии Васильевиче Розанове, русском писателе, русском мыслителе и оригинальнейшем человеке. Доклад будет делать Мих. Мих. Спасовский — едва-ли не единственный среди нас человек, лично знавший Розанова. В розановских письмах к Э. Ф. Голлербаху (изд. Е. А. Гуткова в Берлине в 1922 году) на странице 49, в письме от 7 июня 1918 года, между прочим замечательном письме, которое я хотел бы целиком процитировать, значится: — „Нельзя-ли

Спасовскому прислать немножко денег за мою статью в пасхальный №-р. Напомните ему" и т. д.

— Это и есть тот самый М. М. Спасовский, редактор-издатель журнала „Вешния Воды", в котором участвовал Розанов, — сегоднешний докладчик. М. М. Спасовский по образованию архитектор, жил после революции в Персии и не так уж давно пробрался к нам сюда, в Шанхай. У него есть не только номера журнала „Вешния Воды" со статьями В. В. Розанова, но и письма этого выдающегося человека. В прошлый раз он в Офицерском Собрании рассказывал, как я слышал, встречу Розанова с Распутиным. В письмах к Голлербаху дается описание знакомства Розанова с Распутиным...

Эта статья Л. В. Арнольдова большая. Мы приведем из нее еще две выдержки:

— Сегоднешний доклад очень интересен. Первого я не слышал и содержания его совершенно не знаю, но хочу, в связи с сегоднешним докладом, опять поговорить с читателями о Розанове, тем более что его всё ещё очень мало русские знают, толкуют его деятельность и книги вкривь и вкось, одни признают и даже восторгаются, другие не признают и даже плюются... Я не знаю, как М. М. Спасовский в своём первом докладе характеризовал Розанова, — он его знал, он его видел, он говорил с ним, он был с ним в переписке, он читал и правил его статьи, но для меня, который знает Ро-

занова только по его книгам, письмам и статьям, по бакстовскому его портрету и ещё по некоторым фотографиям, по отзывам людей, кто Розанова знали, любили или не любили, Розанов рисуется таким, как я его себе создал, каким живописую сейчас.

— Пишет-ли о Розанове Алексей Ремизов в книге „Кукха", издает-ли Э. Голлербах „Письма В. В. Розанова", вспоминает-ли о нем Зинаида Гиппиус, все теперь они сходятся на одном, что Розанов — это огромное явление в русской литературе и замечательный, оригинальный мыслитель...

Приводит Арнольдов любопытную чисто розановскую выдержку из его „Уединённого" (16 декабря 1911, стр. 288):

— Ну, а девченок не хочешь? (на том свете). Нет. Отчего же? Вот прославили меня: я и там, если этим делом баловался, то в сущности для „опытов", то есть, наблюдал и изучал. А чтобы „для своего удовольствия" — то почти не было. Ну, и вывод. Не по департаменту разговор. Перемените тему.

Всё это мимоходом мы привели для того, чтобы лишний раз подчеркнуть, что Розанова чтили все, даже люди не его лагеря, но любящие (и умеющие) мыслить. Чтили и берегли память о нём,

пусть даже в каком то роде юродствующем, но бесконечно отзывчивом, на редкость искренном и задушевном человеке, — поистине „не от мира сего" по своим озарениям.

7.

Мы уже писали выше, что отношение к Розанову со стороны русского общества было и остается довольно своеобразным. Левое крыло, равно как и правое (по партийной линии), тянуло Розанова к себе, как „своего" и делалось это не без видимого основания. А так называемый „центр" никак не относился к Розанову, ибо либо мало знал Розанова или вовсе не знал его, судить же по наслышке или по двум-трем случайным статьям не решался. Была, как и ныне существует в Зарубежьи, четвертая группа, — её явно выраженная тенденция сводится к желанию обезличить Розанова, представить его не то чтобы в виде рядового литератора, а вроде как-бы неудачного, недоношенного, в общем — серого, с какой то юродинкой, но не оригинальной юродинкой и „напрасно раздутой".

Мы не намерены конкретизировать данное положение, чтобы избежать полемического характера своего изложения, а ещё раз подчеркнём то, что уже подчеркивали: — Розанов не принадлежал ни

к одному из этих течений ОБЫВАТЕЛЬСКИХ мыслей, он не вмещался ни в какие рамки „правых" или „левых" настроений. Розанов был просто РУССКИЙ человек, но Богом отмеченный необычайными способностями мыслить и широко и глубоко, — мыслить ПРОВИДЕНЦИАЛЬНО, нащупывать и осязать то, что доступно и возможно было только гениальной натуре и то не всякой.

Об этих необычайных умственных и духовных возможностях или, выражаясь несколько иначе, об этой исключительной даровитости Розанова можно отчасти судить по его многогранной способности тонко и с прозрением реагировать буквально на каждое движение в государственной, религиозной, политической и общественной жизни, не говоря уже о философии и всего, связанного с ней. Розанов как-бы парил над всем этим, будучи вне всего этого и одновременно связанным со всем этим. И освещал всё это такой мерой своей одаренности, которая не совпадала и не могла совпасть ни с какой мерой обывательской мысли любой марки, даже самой „учёной", самой „просвещённой" и самой „передовой". Все эти „передовые" мысли, в мире интеллектуальном и культурном (colo — уважаю), плелись где-то сзади и внизу Розанова, жалко улыбаясь своему „превосходству". К чему привело это „превосходство", мы знаем — сперва по Февралю, а потом и по Октябрю...

Чтобы хотя бы краешком познакомить нашего читателя с Розановым, с многогранностью его пытливого и острого ума, ниже мы приводим беглые выдержки из некоторых книг Розанова. Эти выдержки и сами по себе и вместе взятые, без всяких услужливых комментарий, расскажут читателю и о настроении Розанова, и о глубине его восприятия „мира", и о его стиле, — о том существе, о том „нутре" Розанова, которое в целом мало кому ведомо и с которым познакомиться столь необходимо, чтобы знать, какого великого мыслителя имела Россия и чтобы понять что Розанов был и не правым и не левым, а именно просто РУССКИМ человеком, — абсолютно свободным от каких бы то ни было влияний извне (тем более партийного) и по гениальной натуре своей органически не нуждавшийся в этих влияниях, да и недоступный этим влияниям в силу своего самоцветного дарования, цельного и твердого.

Быть просто русским человеком в наши текущие, смятенные и путанные, лукавые и лживые дни звучит неопределенно, тогда как в до-революционное время быть русским человеком было для русского человека и понятно и нормально. Русский человек связан со всем русским, — со всей своей историей, со всеми своими исконными традициями, со всем духом русской культуры и русского быта — в плане его религиозного и государственного

содержания. Тот, кто не имел или не чувствовал в себе эту связанность со своим родным, называл себя или считался ЗАПАДНИКОМ. Этим, в сущности, и ограничивалось деление русского народа: — на подавляющую массу русских и на ничтожное меньшинство западников.

С „прогрессивной", ныне вдребезги обанкротившейся, точки зрения первые „клеймились" (именно, клеймились!) — „темнотой", а вторые одобрительно назывались „просвещёнными".

Именно и очевидно в силу этой своей „темноты" Розанов не был ни антисемитом, ни республиканцем, ни монархистом — в партийном смысле этого слова. И „о евреях" и „о Царях" он писал не как политик, — политиком Розанов никогда не был, всегда оставаясь просто русским человеком, — а именно как философ, милостью Божией одаренный способностью смотреть поверх внешних форм и видеть СЕРДЦЕВИНУ того или иного феномена, — прозревать то, что от западника было скрыто „за тремя соснами" его слепоты, мелкотравчатости и бездушия и что фактически являлось единственно верным и единственно важным.

В частности, отсюда ценность „Опавших листьев" Розанова, его „беглых мыслей". Но эти мысли не скользили, они не были случайными, негаданно „сорвавшимися с пера" или „мелькнувшими в уме". Они не были надуманными афоризмами, а

являлись результатом интуитивного восприятия, глубинного ощущения „предмета". И почти никогда эти свои ощущения Розанов, выражаясь современным языком, не комментировал, а только давал им кратчайшую формулировку — в виде ОПАВШИХ ЛИСТЬЕВ. Этих „листьев" по всевозможнейшим вопросам было „собрано" два объемистых тома в виде нескольких „коробов".

Из этих „коробов" мы сейчас и начнем извлекать розановские „опавшие листья". Листьев этих много, — мы возьмем их небольшую горсть.

О НАШЕЙ „ОБЩЕСТВЕННОСТИ"

„Опавшие листья". Короб второй. 1912-1915. Из третьей тетради.

— ...Мне давно становится глубоко противна эта хвастливая и подлая поза, в которой общество корёжится перед „низким" ПРАВИТЕЛЬСТВОМ, „низость" коего заключается в том одном, что оно было занято делом и делом таких размеров, на какие свиное общество решительно не в силах было поднять свой хрюкающий „пятачек" (конец морды). Общество наше именно имело не ЛИЦО, а морду, и в нем была не душа, а свиной хрящик, и ни в чем это так не выразилось, как в подлейшем, в подлом из подлых, отношении к СВОЕМУ ПРАВИТЕЛЬ-

СТВУ, которое оно било целый век по лицу за то, что оно не читало „писем Белинского" и не забросило батальоны ради „писем Белинского". Но с „ПИСЬМАМИ БЕЛИНСКОГО" и супругой Чернышевского, если бы подобно нам и правительство сыропилось в них, повторяя:

Ах, супруга ты, супруга,
Ах, небесная моя!

то Балканы и остались-бы, конечно, Балканами, Сербия была-бы деревенькой у ног Австрии, болгарские девушки шли-бы в гаремы турок, болгарские мужчины утирали-бы слезы и т. д., и т. д. и прочее, и прочее. Но сам Струве, САМ, целует пятки и коленки подлому Желябову, * считает его „политическим гением", а не хвастунишкой-мужечёнком, которого бы по субботам следовало пороть в гимназии, а при неисправлении просто повесить, как чумную крысу с корабля...

*** Речь идет о пресловутом русском либерале-масоне и помощнике Ленина, ныне покойном Петре Бернгардтовиче СТРУВЕ. Придя в ужас от плодов своих рук, Петр Струве в 20-х годах бежал из СССР заграницу. В эмиграции он редактировал покаянный „орган национальной мысли и освободительной борьбы" — еженедельную газету „Россия" — (Париж, 1927-28) и позже „орган национально-освободительной борьбы" — журнал „Россия и Славянство". Желябов — один из убийц Императора Александра II — ЦАРЯ ОСВОБОДИТЕЛЯ.**

Примечание М. Сп — аго.

— Что же это такое, что же это за помесь БЕЗУМИЯ И ПОДЛОСТИ, что когда убили Александра II, который положил же свой ТРУД и ПОТ за Балканы, тот же Струве не выдавит из себя ни одной слезинки за Государя, ни одного доброго слова на Его могилу, а льстиво и лакейски присюсюкивает у Желябова, снимает с него носки и чешет ему пятки, как крепостная девчёнка растопыренному барину.

— Да, с декабристов и даже с Радищева ещё начиная, наше ОБЩЕСТВО ничего решительно не делало, как писало „письма Шпоньки к своей тетушке", и все эти „Герцены и Белинские" упражнялись в чистописании, гораздо бесполезнейшем и глупейшем, чем Акакий Акакиевич...

Сею рукопись писал
И содержание онной не одобрил.
Петр Зудотешин.
Петр Зудотешин.
Петр Зудотешин.

Вот и все „полные собрания сочинений" Герцена, Белинского и „шестидесятников".

БАТАЛЬОН И ЭЛЕВАТОР.

Но кто его строил? Александр II и Клейнмихель. Да, этот колбасник, которого пришлось взять Ца-

рям в черный час истории, — потому что собственное общество, потому что САМИ-то русские все скрылись в „письмо тетеньки к Шпоньке", в обаятельную Natalie, и во весь литературный онанизм. Онанисты — вот настоящее имя для этого общества и этой литературы; онанисты под ватным уездным одеялом, из „угольничков" сшитым, которые потеют и занимаются своими гнусностями, предаваясь фантазиям над раздетой попадьей.

— О, какия уездные чухломские чумички они, эти наши социал-демократы, все эти знаменитые МАРКСИСТЫ, все эти „Письма Бакунина" и вечно топырящийся ГЕРЦЕН. Чухлома, Ветлуга, пошлая попадья — и не более, не далее. Никому они не нужны. Просто, они — НИЧЕГО.

Эта подлая Чухлома проглядела перед своим носом:

АЛЕКСАНДРА II и КЛЕЙНМИХЕЛЯ, которые создали ЭРМИТАЖ, создали ПУБЛИЧНУЮ БИБЛИОТЕКУ, создали АКАДЕМИЮ ХУДОЖЕСТВ, создали как-ни-как ВОСЕМЬ УНИВЕРСИТЕТОВ, которые, если г... нные, то уж никак не по вине Клейнмихеля и Александра II, которые виновны лишь в том, что не пороли на Съезжей профессоришек, как следовало бы.

— ВО ФРУНТ, ПОТНОЕ ОТРОДЬЕ! — следовало бы им скомандовать.

— Вылезайте из-под одеяла, окачивайтесь сту-

деной водой и пошли-ка делать С НАМИ ИСТОРИЧЕСКОЕ ДЕЛО: и освобождения славян, и постройки элеваторов.

Тут объясняется и какая-то жёсткоя расправа с славянофилами.

Эх, всё это — БОЛТОВНЯ, все это — „Птичка Божия не знает", когда у нас

НИЧЕГО НЕТ,
ЭЛЕВАТРОВ НЕТ,
КОГДА НЕМЕЦ ИЛИ ЯПОНЕЦ ЗАВТРА НАС СОТРЕТ С ЛИЦА ЗЕМЛИ. — В солдаты профессоров!

Да, вот команда, которую, хоть ретроспективно, ждёшь, как манны небесной.

Боже, мой: целый век тунеятства и такого хвастливого!

В „Былом" о чумных крысах рассказано „20 томов", сколько не было о ВСЕЙ борьбе России с Наполеоном, сколько, конечно, нет о „всех элеваторах" на Руси, ни о Сусанине, ни о всех Иоаннах, которые строили Русь и освободили её от татар.

По-истине, Цари наши XIX века повторяли работу московских первых Царей — в невозможных условиях хоть построить что-нибудь, хоть сохранить и сберечь что-нибудь. В „невозможных условиях": так как общество ничего не делает и находит в том свою гордость.

Безумие, безумие и безумие; безумное общество. Как объясняется и Аракчеев; как объясняются вспышки лютости и в нашем правительстве:

— Да что-же вы ничего не делаете?

Об Аракчееве только и кричат, что он откусил кому то нос. Ну, положим, откусил, но ведь не осталась от этого „безносой" Россия. Подлецы: да, шляясь по публичным домам, вы не один „нос" потеряли, а 100 носов, 1000 носов, говорят даже у самого „финансиста" не достает носа, и если бы во-время ЗВЕРЬ-АРАКЧЕЕВ послал к чорту эти бар..., то ОН — ЗВЕРЬ сохранил бы 1000 носов, а за 1000 носов можно обменять один откушенный. Нужно ЖЕЛЕЗО.

Этим железом и был „Сила Андреевич", к которому придираются ещё за „Настасью", хотя сам придирающийся профессор лезет в ноги своей „Парасковье" на кухне, тоже под ватное одеяло. И вообще это (любовницы) мировое и общее, а не „свойство Аракчеева".

Да, ОДИН Аракчеев есть гораздо более значущая и более ТВОРЧЕСКАЯ, а следовательно даже и более ЛИБЕРАЛЬНАЯ („движение вперед") личность, чем все ничтожества из 20-ти томов „Былого", с Михайловым — „дворником" и Тригони и всеми романами и сказками „взрыва в Зимнем Дворце". „Колокол" Гауптмана — в него звонит Аракчеев, а не Тригони; Шиллер и Шекспир — пи-

сали об Аракчееве, а вовсе не о Желябове. Поэзия-то, философия-то русской истории, её святое место, — и находится под ногами... страшно и слёзно сказать, но как не выговорить, взирая на целый Балканский полуостров, на возрождение 18-ти миллионов народа, что... эта святая земля нашей России — под ногами, скажем ужасное слово, просто КЛЕЙНМИХЕЛЯ.

Да. Лютеранина и немца. Чиновника, чинодрала. Узкой душонки, которая умела только повиноваться. Но она повиновалась, безропотно и идиотично, безропотно, как летящий в небесах ангел, — ЦАРЮ.

Который один и сделал всё. Вот вам ответ на „Историю русской литературы".

О РОССИЙСКОЙ ДЕМОКРАТИИ

„Опавшие листья". Том второй. 1912-1915.

— Русский ленивец нюхает воздух, не пахнет ли где „оппозицией". И, найдя таковую, немедленно пристает к ней и тогда уже окончательно успокаивается, найдя оправдание себе в мире, найдя смысл свой, найдя в сущности себе „царство небесное". Как же в России не быть оппозиции, если она таким образом всех успокаивает и разрешает ты-

сячи и миллионы личных проблем. „Так" было бы неловко существовать; но „так" с оппозицией есть житейское "comme il faut".

— Пришёл вонючий разночинец. Пришёл со своею ненавистью, пришёл со своею завистью. Пришёл со своею грязью. И грязь, и зависть, и ненависть имели, однако, свою силу, и это окружило его ореолом „мрачного демона отрицания"; но под демоном скрывался просто лакей. Он был не черен, а грязен, и разрушил дворянскую культуру от Державина до Пушкина. Культуру и литературу... („разночинцы" в литературе и упоение ими разночинца — Михайловского).

Демократ имеет под собою одно право... хотя, правда, оно очень огромно..., проистекающее из голода... О, это такое чудовищное право; из него проистекают убийство, грабёж, вопль к небу и ко всем концам земли. Оно может и В ПРАВЕ потрясти даже религиями. „Голодного" нельзя осудить, когда он у вас отнял кошелёк. Вот „преисподний" фундамент революции. Но ни революция, ни демократия, кроме ЭТОГО, не имеют никаких прав. Да, ты ЗАРЕЗАЛ МЕНЯ, и, как голодного, я тебя не осуждаю. Но ты ещё говоришь что-то, ты хочешь души моей и рассуждаешь о высших точках зрения: в таком случае я плюю кровью в бесстыжие глаза твои, ибо ты менее голодный, чем мошенник.

— Едва демократия начинает морализовать и философствовать, как она обращается в мошенничество. Тут-то и положен для неё исторический предел.

— Вся русская „оппозиция" есть оппозиция лакейской комнаты, то есть, какого-то заднего двора — по тону: с глубоким сознанием, что это задний двор; с глубокой болью — что сами „позади"; с глубоким сознанием и ПРИЗНАНИЕМ, что критикуемое лицо или критикуемые лица суть барин или баре...

— Политическая свобода и гражданское достоинство есть именно у консерваторов, а у „оппозиции" есть только лакейская озлобленность и мука „о своем ужасном положении".

— Ты бы, демократ, лучше не подслушивал у дверей, чем эффектно здороваться со швейцаром и кухарками за руку. От этого жизнь не украсится, а оттого, решительно, жизнь воняет. При том надо иметь слишком много самообольщения и высокомерия, чтобы думать, будто она будет осчастливлена твоим рукопожатием. У нее есть СВОЕ ДОСТОИНСТВО, и, как ни странно, в него входит получить гривенник за „пальто", которого ты никогда не дашь.

— Парламент у нас явился „журналистом", тем русским журналистом, который беден и потому ругает богатых, без власти и потому ругает людей

значительных... Это нелепое и чудовищное явление, вполне гадкое и в гуттенбергском наборе стало ещё гаже, обсуждая „законы".

О РЕВОЛЮЦИИ

„Опавшие листья". Короб второй. 1912-1915. Из третьей тетради.

— „Средний европеец" и „буржуа" именно в 19-ом веке, во весь ПОСЛЕ-РЕВОЛЮЦИОННЫЙ фазис европейской истории выродился во что-то ПРОТИВНОЕ.

— Не „буржуа" гадок, но поистине гадок буржуа 19-го века. Самодовольный в „прогрессе" своем, вонючий завистник всех исторических величий и от этого единственно стремящийся к УРАВНИТЕЛЬНОМУ СОСТОЯНИЮ всех людей — в одинаковой грязи и одном безнадёжном болоте.

— „Ничего ГЛУБЖЕ и ничего ВЫШЕ", — сказал мерзопакостный приказчик, стукающий в чахоточную грудь кулаком величиной с грецкий орех. „Ни святых, ни героев, ни демонов и богов!" Он не являет и идиллии; жену он убедил произвести кастрацию, чтобы не обременяться детьми. „Вечно

пассивная" женщина подалась в сторону советов этого мошенника, son mari. Так вдвоём они немножко торгуют, имеют текущий счет в еврейской конторе, ездят повеселиться в Монако, отдохнуть на Ривьеру, покупают картинки „под Рафаэля", и к ним присосеживается „друг" семьи — так как онанизм втроем обещает большие перспективы, чем вдвоем.

— Тихая, покойная, глубокая ночь. Прозрачен воздух, небо блещет... Дьявол вдруг помешал палочкой дно: и со дна пошли токи, мути болотных пузырьков. Это пришел Гоголь. За Гоголем все. Тоска. Недоумение. Злоба, много злобы. „Лишние люди". „Тоскующие люди". „Дурные люди". Все врозь. „Тащи нашу монархию в разные стороны!" — Эй, Ванька, ты чего застоялся, тащи, другой минуты не будет!" Горилка. Трепак. Да, это уже не „придворный менуэт", а „нравы" Растеряевой улицы".

— Революция имеет два измерения — длину и ширину, но не имеет третьего — глубины. И вот по этому качеству она никогда не будет иметь СПЕЛОГО ВКУСНОГО плода; никогда не „завершится". Она будет всё расти в раздражение, но никогда не настанет в ней того окончательного, когда человек говорит: — „Довольно! Я — счастлив. Сегодня так хорошо, что не надо завтра"... Революция

всегда будет надеяться только на „завтра". И всякое „завтра" её обманет и перейдет в „после-завтра".

— В революции нет радости. И НЕ БУДЕТ. Радость — слишком царственное чувство, и никогда не попадёт в объятия этого ЛАКЕЯ. Два измерения: и она не выше человеческого, а ниже человеческого. Она механична, она материалистична. Но это не случай, не простая связь с „теориями нашего времени", это судьба и вечность. И в сущности, подспудная революция в душах обывателей, уже ранее возникшая, и толкнула всех их понести на своих плечах Канта, Спенсера и подобных.

— Венцом революции, ЕСЛИ ОНА УДАСТСЯ, будет великое Уснуть.

Самоубийства, эра самоубийств...

— ДА, РУССКАЯ ПЕЧАТЬ И ОБЩЕСТВО, НЕ СТОЙ У НИХ ПОПЕРЁК ГОРЛА „ПРАВИТЕЛЬСТВО", РАЗОРВАЛО БЫ НА КЛОЧКИ РОССИЮ И РОЗДАЛИ БЫ ЭТИ КЛОЧКИ СОСЕДЯМ ДАЖЕ И НЕ ЗА ДЕНЬГИ, А ПРОСТО ЗА „РЮМОЧКУ" ПОХВАЛЫ. И вот отчего без нерешимости и колебания нужно прямо становиться на сторону „бездарного правительства", которое ВСЁ ТАКИ одно только всё охраняет и оберегает. Которое ещё одно не подло и не пропито в России.

О ПРАВОСЛАВНОМ ЦАРЕ

„Опавшие листья". Короб второй. 1912-1915. Из второй тетради.

— Сказать ли наконец истину (которую едва сознают через сто лет), что ОБЩЕСТВЕННАЯ РОЛЬ в политике начнётся только с момента, когда общество, сняв шапку, поклонится Государю и скажет:

— Ты первенец Земли Русской, а мы — десятые и сотые. Но и сотые и десятые имеют свой час, урок, свою задачу, свою судьбу, своё указание от Бога. Иди и да будут благословенны пути Твои. Но и Ты, оглядываясь на своих деток — благослови тоже наши шаги.

— Я сам прошёл (в гимназии) путь ненависти к правительству ... к лицам его, к принципам его... от низа и до верхушки... Путь страстного горения сердца к „самим устроиться" и „по-молодому" (суть революции), и следовательно мне можно поверить, когда в 57 лет (а в сущности начал ещё в Университете) я говорю, что В РОССИИ НЕЛЬЗЯ НИЧЕГО СДЕЛАТЬ БЕЗ ГОСУДАРЯ И БЕЗ ВЕРЫ В НЕГО. Это во первых и вовсе ещё не главное: а самое главное, что (не говоря об эмпирических исключениях, которые „простить") Государь есть в точности лучший человек в России, то есть, наиболее о ней думающий, наиболее терпевший (ряд

Государей, „дипломатические поражения", „конфуз" за отсталость), наиболее для неё работавший (сколько ПОРАБОТАЛ Александр II!), и вместе — пока что — наиболее могущественный что-нибудь для неё сделать. Он есть лучший человек в России и, по-истине, Первенец из всех потому, что самым положением своим и линией традиции („с молоком матери" и „врожденные предрасположения") не имеет ВСЕЦЕЛЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ДУШИ никакого другого интереса, кроме как благо России, благо народа, в условиях без-сословности и внепровинциальности.

— Самая выработка такого лица, по-истине, есть феномен и чудо: и, поди-ка, если бы его не было, создайте другое лицо, которое бы думало „только о народе, его благоденствии и славе".

— Так думали герои и святые, — как Перикл: и за то сколько его славят. Славят собственно не за успехи (какие особенные успехи у Перикла?), а что вот нашелся-же „частный человек", который „всего себя посвятил Отечеству", и у которого вне Отечества не было своей и особой, личной и домашней мысли. Таковы были Перикл, Кимон и еще немногие, человек семь. Аристид. Но уже Фемистокл не был таким, и не был таким Кромвель, Цезарь, величайший из „республиканцев". Итак, человек семь всего.

— Какой-же феномен и святое чудо, что века-

ми терпения и страдания, веками покорности и МОЛИТВЫ ЗА ЦАРЕЙ русский народ выработал ТАКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, такую „должность" и „лицо", что как вот НОВЫЙ вступает „в него", он вдруг начинает думать и действовать, „как Аристид и Кимон", то есть, с молитвой только об одном — „как можно справедливее", как можно „лучше стране" и — „ничего мне", „ничего особого и отдельного мне".

— Царская власть есть чудо... В Царской власти и через её таинственный институт побеждено чуть не главное зло мира, которого никто не умел победить и никто его не умел избежать: ЗЛАЯ ВОЛЯ, ЗЛОЕ ЖЕЛАНИЕ, — ЗЛАЯ, ЗЛОБНАЯ СТРАСТЬ.

— Дело не в ошибках: поправить ВСЯКИЕ ОШИБКИ ничего не значит; в истории и даже в мире, в сложении его, в корнях его лежит и ВСЕМУ ПРИСУЩАЯ злая, безобразная воля: Каин, Диавол, Люцефер. Вот с чем не могли справиться народы и от чего человечество невыразимо страдало, встречаясь с чем гибли народы и разбивались целые цивилизации. Это-то метафизическое зло истории и даже метафизическое зло мира побеждено выработкой в сущности сверх-исторического явления, явления какого-то аномального и анормального (конечно!) — Царя: в котором зложела-

тельность pur sang есть cotradictio in adjecto, невозможность и незабываемость.

— Вот почему злоумыслить что-нибудь на Царя и отказать ему в повиновении, если он по болезни страстен и гневен (Грозный), или даже если бы он был лишен рассудка, — УЖАСНАЯ ВЕЩЬ В ОТНОШЕНИИ ВСЕЙ ИСТОРИИ, всего будущего, тысячи лет вперед; ибо это неповиновение или это злоумышление могло бы в последующих Государях разрушить то главное, что составляет суть всего: их благость и их всецелую без остатка для себя благорасположенность ко всем и всему окружающему в стране своей. Перикл, зная, что его „изгонят" или могут изгнать. „вдруг" стал бы „откладывать в копилку про чёрный день и на случай".

— Из Царя именно исключен „случай" и „черный день". Все дни Царя суть светлы, и о светлых днях ему молится весь народ, ибо непрерывный свет в душе Царя есть тот свет, которым освещается вся страна. Вот отчего и история с Павлом I была черна, подла, омерзительна для воспоминания, и её антиблагой характер, „вредный последствиями", был как бы мы проиграли 12-ый год; и отчего г. г. из Женевы и Парижа и должны быть не просто казнимы, а истреблены, ибо сами они истребляют в сущности весь свет, всю радость, весь смысл, которым живет и осмысливается и окормляется весь русский народ.

— Вот отчего „раздражить" Государя, сделать ему „огорчение" есть величайшее народу злодеяние. „Перикла обворовали", — „Нет Перикла!" — Ну, а что значит „нет Перикла" для Афин — это знает Иловайский, да и не он один.

— Вот отчего истребление всяких врагов Государя и всякой вражды к Государю есть то же, что осушение болот, что лучшее обрабатывание земли, что дождь для хлеба и проч. Никакого чёрного дня Государю! Все дни Его должны быть белы, — это КОРЕННАЯ ЗАБОТА НАРОДА, на которую, как на хорошую пахоту — урожай отвечает любовь ВСЕМОГУЩЕГО существа о народе, труд для него, забота о нем.

— Теперь о вере, Евангелии и Христе. То есть, о Церкви, которая ничего ещё и не делает и ничего ещё и не имеет, кроме как хранить, говорить, учить и распространять Евангелие, Христа и Вечную Жизнь.

Едва я сказал, как все закричат: — „Да ведь это цивилизация!" Это уже не Боклишко с Дарвинишком, не Спенсеришко в 20-ти томах, это не „наш Николай Григорьевич" (Чернышевский), все эти лапти и онучи русского просвещения, а это цивилизация В САМОМ ДЕЛЕ от пришествия Гуннов и Алариха до Эдуарда Исповедника, до Крестовых походов, до рыцарства, до Сервантеса, до Шекспира и самой революции.

Что же тут трясутся „в изданиях Пирожкого" Ренан и Штраус: да их выдрать за уши, дать им под зад и послать их к чорту. Если запищат наши „Современники" и девица Кускова — сослать их за Кару. Что же делать с червяком, который упал с потолка вам в кушанье? Такового берут в ложку и выплескивают к чорту.

Вечная Жизнь и Бокль, проповедь Апостолов и 43 года „Вестника Европы", который не удостоил их хотя-бы когда-нибудь назвать по имени и верно не знал, что их „12" („исторический" журнал). Какое же рассуждение: — „Вестник Европы" нужен 6.000 своих подписчиков, Евангелие БЫЛО необходимо человечеству двадцать веков, КАЖДОМУ в человечестве. Кто-же бережет лопух, который заглушает сад, кто бережет червя, который есть яблоко и кто бережет разбойника, который режет на дороге? Никакого рассуждения, что всё это к выбросу.

Но я говорю о корнях (исторических), когда хочу рассуждать: — в Евангелии, в одной книге, „в Церкви", то есть, одном учреждении, Европа — не русские и не немцы, а Европа имеет ТО ОДНО, как бы „в горсть взятое", чего не имели Греция и Рим, не имеет и Китай, и Индия. Ибо там если и есть Будда, Конфуций, то это — философия, которая ещё имеет соперничество в более древних лицах. Но Европа и только одна ОНА имеет ОДНО

РОЖДЕНИЕ из одного ЛИЦА — Христа. Нет „Европы", а есть „Христианский мир", и все знают, что „Христианский мир" обширнее, многозначительнее и вечнее „Европы", а „Христос" обширнее „Христианского мира" и есть „Вечность" и „Все".

— Понимаете-ли вы отсюда, что Спенсеришка надо было драть за уши, а „Николаю Григорьевичу" дать по морде, как навонявшему в комнате конюху. Что никаких с ним разговоров нельзя было водить. Что их просто следовало вывести за руку, как из-за стола выводят господ, которые вместо того, чтобы кушать, начинают вонять.

— Догадываетесь-ли вы, наконец, что цивилизация XX-го века, которая в значительной степени есть анти-христианская, была вовсе не „цивилизация", а скандал в ней, и не „прогресс", а „наследили на полу" и надо это подтереть. Пришли свиньи и изрыли мордами огород: это не значит, что огороду не надо быть и надо к осени остаться без овощей, а значит, что свиней надо прогнать или заколоть, а гряды поправить, вырытое вновь всадить в землю и по осени собирать плоды.

— И вот эта „Церковь" — она уже до того превосходит Россию она до того превосходит Европу, что Русский Царь, о котором я сказал все слова, какие сказал, — Он склоняется перед одною Церковью, как перед Вечным Источником жизни всех — и также страшится и испуган Её огорчить, как каж-

дый из нас страшится и испуган огорчить Его.

— И эти два, в сиянии, образуют свод над мужиком и Русью, над каждым и всеми. Какого не имели ни Рим, ни Афины.

О подразумеваемом смысле нашей Монархии.

Так названа одна из книг Розанова, изданная в 1912 году, в Петербурге. Извлекаем из VII-ой главы этой книги некоторые места, наиболее ярко и показательно характеризующие подход Розанова к Монархии вообще и к Русской, в частности.

***

„Как солнце есть источник лучей не только световых, хотя они одни в нём видны, но и термических, химических, быть может, ещё других, менее уловимых и лишь в синтезе их живительно для целей природы, — так Монарх в смысле власти своей несёт чрезвычайную сложность и лишь в полноте этой сложности живителен, значущ, твёрд в судьбах своего народа, в истории страны.

„Всякий акт в жизни народной, насколько он нов сравнительно с предыдущими, усложняет, обогощает смысл его значения; и тысячи этих актов, теряющихся в памяти народной в своих определённых чертах, остаются в душе его, как предста-

вление о власти неуловимой и живительной, неопределённой и безмерной, необходимой практически и вместе священной.

„В смысле этой власти отражается смысл всей совершившейся истории; её каждое деяние имеет там отложенную от себя черту" и как в истории народа, бытие которого не ограничивается этнографическим существованием, есть несомненно провиденциальный характер, — этот провиденциальный характер имеет власть Монарха, концентрирующая в себе смысл истории.

„Отсюда взгляд на него как на „Помазанника Божия", представление о власти как о „милости от Бога полученной". И весь народ „помазан" к истории Богом; он — ЕСТЬ, продолжается, совершает деяния, а не остается в грязи неведения, молчания, забвения вовсе не бедными дарами своими, не сцеплением внешних обстоятельств, но Тем, Кто распределяет дары, сцепляет их с обстоятельствами.

„Уяснить эту власть, определить её, формулировать — значит её уменьшить, обеднить, ограничить. "L'etat c'est moi" — это выражение не было кульминационным пунктом в развитии Монархии, как поняли историки, с ужасом сознали политики: это было ее первым ОГРАНИЧЕНИЕМ...

„Фактическим революциям, какие совершались в Европе с 1649 года по 1870 год, предшествовали незамеченная революция в представлениях народ-

ных о Монархе в смысле указанного определения и сужения его власти. Карл I и Иаков II в Англии, Людовик XVI, Карл X, Луи-Филипп — во Франции, Ферденанд I и Фридрих Вильгельм IV — в Австрии и Пруссии, были низвергнуты или испытали попытку быть низвергнутыми, как ПРАВИТЕЛИ стран, как неудачные АДМИНИСТРАТОРЫ, а вовсе не как монархи в том обильном, не растерянном сысле, какими были Константин или Феодосий на Востоке, Карл Великий, Альфред, Оттон на Западе.

„Мы живо чувствуем — революция против этих последних была бы невозможна; невозможна не в обстановке их времени, но по особым качествам их власти, равно как в качествах власти всех перечисленных, павших государей уже implicite заключалась возможность революции против них; и факт преступности их или неудач был возбудителем, но не причиною их падения.

„Революция фактическая есть незаметный её момент; наростающее неудовольствие масс — момент не решающий; главный момент революции, непонятый историками, неуловленный теоретиками государства — есть момент ОПРЕДЕЛЕНИЯ в народных представлениях власти Монарха, как связанной с чем-нибудь ОПРЕДЕЛЁННЫМ в его бытии, связанной только с ЭТИМ ОДНИМ и обрывающейся, как только это одно потрясено.

— Генрих VIII в Англии не низвергается, разрушив Церковь древнюю, установив новую по своему произволу, — развратный и жестокий тиран. Карл I (после заботливой Елизаветы) уже вызывает против себя революцию стеснением Эмиграции, собиранием податей помимо одобрения парламента. Карл IX, совершив Варфоломеевскую ночь, — Христиан II, устроив в Стокгольме „кровавую баню", — наш Иоанн Грозный и ряд Государей слабоумных (Феодор Иоаннович), помешанных (Карл IV во Франции), плененных (Франциск I, Иоанн Добрый), без вести пропавших (Ричард Плантагенет) оставляли народ в покое, в горести, в сожалении, страхе, ужасе, но никогда — в возмущении. О ЧЕМ же было сожаление, за ЧТО в государстве страх, чем было удерживаемо возмущение, если на лицо не было не только благодетельной власти государственной, но и не было Государя иначе как помешавшегося или потерянного?

„Всмотримся в факт, ближе, понятнее, ярче светящий перед нами: разве кровь, проливаемая Иоанном IV, текла без боли? Разоряемый Новгород, готовый стать разоренным Псков — не трепетали? В Ливонской войне не было унижено Царство? Итак, что берегли в этом теле — старом, не нужном, блудном, упившемся в крови? Государя-ли, когда всякий на месте его был лучший? Правителя беззаконного, военачальника побитого, поли-

тика осмеянного, судью бессудного? Нет, всё это было ему.... не прощено, не забыто, но всё это — малилось перед необъятным иным, что он нёс в себе, в этом изношенном теле, помешанном уме, развращенном сердце, точнее — что нёс, что светилось для всего народа ОКОЛО этой не погаснувшей, мучительной, презренной и, однако, бережно хранимой жизни.

„Мы не определяем, не хотим определить смысл этого света; мы на него указываем; и никто не отвергает, что и псковитяне, и новгородцы, и Филипп Святой, и Курбский именно ради этого невыраженного и чувствуемого света не осмелились для защиты своей поднять руки, даже слишком возвысить голос, но — умерли, пострадали и облили бы презрением, вознегодовали бы против потомков своих, если бы также покорно и безропотно не пострадали, не умерли они...

„Монарх самоограничивается и потом уже — ограничивается извне или теряет вовсе власть. При целости и полноте в нём черт, отложенных мириадами деяний минувших и полу-забытых, самая мысль об его ограничении так же чужда бывает времени, враждебного каждому человеку, как показалась бы ему враждебна мысль ограничить его собственную связь с историей, оборвать дорогое, нужное, святое — что он от неё несёт в своих нра-

вах, воспитании, навыках, целом физическом и духовном своём бытии.

„Как омофором священным, — от бурь истории, от ненависти человеческой Монарх ЭТИМ именно охраняется, — в грехе и доблести, силе и слабости, рассудительности и даже безумии; что ему все проходит, пока не снят, не свился над ним, не оттолкнут самим им безрассудно этот оберегающий его, Промыслом оберегаемый над ним, Покров...

***

В заключение этой главы мы позволим себе привести из статьи архимандрита Константина (в миру проф. Кирилла Зайцева) — „Минувший век" СУЖДЕНИЯ РОЗАНОВА О ЦЕРКВИ. Этой цитате о. Константин предпосылает такую фразу:

— „Чтобы понять, с чем шёл навстречу Церкви русский интеллигент, в его „духовной жажде", обратимся к В. В. Розанову, деятельному члену этих собраний и гениальному выразителю современных ему веяний".

Вышеупомянутая статья о. Константина с цитатой из Розанова напечатана в богословско-философском ежегоднике „Православный Путь" за 1955-ый год (Изд. Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле, США).

Итак, Розанов пишет:

„Я много лет каждое воскресенье бывал в церкви. Бываю здесь в Петербурге, бывал в Москве. Бывал в провинции. Мало, где чиновник, судья, моряк, генерал, журналист, доктор, общественный деятель стоит среди народа и молится усердно. В большинстве — одни простолюдины. Простолюдины и ещё в самом небольшом числе образованные женщины. Это гораздо более жутко, чем книги Штрауса и Ренана...

„Задавая себе вопрос о Церкви — я нахожу догматы её, нахожу её службы и обряды. Но я раскрываю катехизис Филарета и, прочитав в нем: — „Церковь есть общество верующих, соединённых единством догматов и тайн", — оглядываюсь кругом и спрашиваю: — „Ну, а где же, однако, это самое общество?

„Закваска для теста есть: это — учение Христово, догматы, таинства; есть и хлебопекарь — духовная иерархия; но нет муки — и нельзя замесить теста и испечь хлеб. Мука — это верующие, как общество, организованное около Церкви. Нам, интеллигенции, предлагается „мириться" с Церковью, пойти „в Церковь".

„Ну, вот я — интеллигент. Я не знаю, с кем мириться мне и куда мне пойти, потому что по Филаретову определению Церкви .... её как будто нет... Прихода нет.... Мы странствуем от храма к храму и заходим в храм, а пожалуй и не заходим в него

... как на почту отдать письмо. Так странствуют бедуины в пустыне, подходят к колодезю, когда хочется пить, а не хочется — проходят мимо.

„Но храм есть, душевное, и я также не могу иметь „вообще там где-то" храм, как не могу иметь „вообще там где-то" постель, обед, жену, и комнату. Это странствование христиан без прикрепления к ним храма и вызвало то, что в конце концов храмы очутились на одном берегу мировой реки и довольно пусты, а народ очутился на другом берегу той же реки, и уж не взыщите, если не идёт в храм, в который его не позвали или пожалуй и зовут, даже очень зовут, но в качестве гостя-посетителя.

— „Нет религиозной жизни", — жалуются... Да вглядитесь: религиозная то жизнь в обществе есть, и даже горячая, но стала личной, внутренней, комнатной, а не храмовой, потому что в храме, как и всяком не моём месте, я чувствую себя чуждым, ненужным. „Гостю" и положение гостя, и психология гостя: шапку взял и вышел...

„Церковь теперь в смысле организованного общества верующих ограничивается старостою, клиром и консисторией. Но взыскивать ли, что я, мирянин, не чувствую себя и не веду себя, как староста или клирик, или член консистории, а как любитель литературы, лекций, театра, где я не гость, а делатель, творец, критик и немного и косвенно даже и власть. Свое дело любишь. Свое творение

любишь. В Церкви я не творю — и — холоден к ней.

„Храм чужое место и чужое дело, дело клириков и какой-то там запутанной администрации, где я... помолился, как опустил письмо на почте или взял в булочной булку. Но не буду я засиживаться в булочной или на почте, и если уж храм повернут ко мне так оффициально, то пусть уж не взыщут, что и я не держу его за пазушкой. Я ему не тёпел, и он мне не тёпел.

„Но, слава Богу, мы говорим об этом, и кажется оттого, что не только миру холодно (что всегда и уж века было), но и сам храм почувствовал, что ему тоже холодно, что он сам выстужен... заледенел. Великие признаки. Великое сознание.

„Спросят, — чего же вы хотите? Святости на месте святом — самая простая вещь... Бог есть в интеллигенции, и крепко есть. Только Он у меня не на языке, а в делах. Время атеистической интеллигенции минуло... Как только клир разорвет с замкнутостью, он станет не для одних только „простолюдинов", но и для интеллигенции „нашим" клиром, близким и родным нашим духовенством, и мы не только не отнимем, а ещё и прибавим ему богатства и власти, ибо почувствуем, что власть эта уже не против нас, а наша же и с нами, и богатство это тоже не от нас взято, а как-бы к нам прибавилось.

„Примирение интеллигенции и духовенства слишком возможно, но только после некоторого мирового „Помилуй мя, Боже..."

***

Под влиянием этих розановских строк хочется бросить пару фраз от себя, подчеркнуть и оттенить, что наше время в особенности требует от нас (и для нас), чтобы если не церковный быт, то дух этого быта вошел в нашу русскую ОБЩЕ-народную жизнь, — чтобы Церковь и народ, — Церковь не как администрация, а как ТЕЛО ХРИСТОВО, дышали одной грудью, одним воздухом, — воздухом общего биения сердца и общего горения мысли.

Именно, отрыв народа в лице его интеллигенции от Церкви и привёл Россию к катострофе, — у людей не только замутился ум, но и опустошилась душа, а вместе со всем этим и зашаталось всё и прежде всего совесть, мораль, нравственные обязательства, устои ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО, нашего христианско-православного бытия, все идеи ПРАВЕДНОЙ общественной и государственной жизни.

***

Остаётся ещё добавить к этой главе МЫСЛИ РОЗАНОВА ОБ ЕВРЕЯХ. Мы нарочито говорим „мысли о евреях", ибо Розанов по еврейскому вопросу писал не как „разоблачитель" или „уличитель" — на положении „антисемита", а как исследователь иудаизма в исторической перспективе, —

так же, как он касается древних религий других народов, освещая эти религии с философской и в какой то степени мистической точки зрения.

И в до-революционное время и теперь вот те самые „демократы', которых так блестяще охарактеризовал Розанов, иногда пытаются приклеить к Розанову кличку „антисемита". Они попытались бы приклеить к нему кличку и „мракобеса", если были бы немного последовательнее и немного смелее.

Но все эти попытки настолько глупы и смешны, что только конфузят их авторов. Фактическими мракобесами — по еврейскому вопросу, являются те, кто пыжится работу по исследованию древних религий вообще и иудаизма, в частности, прикрыть, наложить на такую работу ТАБУ, запрет, — очевидно, не понимая, что подобной мерой эти джентлемены бросают густую и подозрительную тень на весь иудаизм в его целом.

По еврейскому вопросу — в широком понимании этого слова Розанов писал много и оригинально, с присущим ему гениальным прозрением. Мы здесь приведём всего лишь три-четыре его мысли, чтобы познакомить читателя с характером подхода Розанова к евреям, к определению их психологических особенностей, как эти особенности видел и понимал Розанов.

О ЕВРЕЯХ

„ОПАШИЕ ЛИСТЬЯ".
Короб 1-ый и 2-ой. СБП. 1912-1915.

— Еврей силится отмыть какую-то мировую нечистоту с себя, какой-то допотопный пот...

— Еврей всегда начинает с услуг и услужливости и кончает властью и господством. Оттого в первой фазе он неуловим и неустраним. Что вы сделаете, когда вам просто „оказывают услугу"? А во второй фазе никто уже не может с ним справиться. „Вода затопила все". И гибнут страны, народы.

— Услуги еврейские, как гвозди в руки мои. Ласковость еврейская, как пламя обжигает меня. Ибо, пользуясь этими услугами, погибнет народ мой, — ибо обвеянный этой ласковостью, задохнется и сгинет народ мой. Ибо народ наш неотёсан и груб. Жесток. Все побегут к евреям. И через сто лет „всё будет у евреев".

— Сила евреев в их липкости. Пальцы их — точно с клеем. „И не оторвешь". „Всё к ним прилипает". И они ко всему прилипают. „Нация с клеем".

— Евреи „делают успех" в литературе. И через это стали её „шефами". Писать они не умеют: но при этом таланте „быть шефом" им и не надо уметь писать. За них напишут всё русские, чего они хотят и что им нужно.

— Вся литература (теперь) „захватана" евреями. Им мало кошелька: они пришли „по душу русскую".

— Паук один, а десять мух у него в паутине. А были у них крылья, полёт. Он же только ползает. И зрение у них шире, горизонт. Но они мёртвы, а он жив. Вот русские и евреи. 100 миллионов русских и 7 миллионов евреев.

— Только русская свободушка и подышала до евреев, которые ей сказали „цыц!" И свободушка завиляла хвостом.

— Погром — это конвульсия в ответ на муху. Паук сосет муху. Крылья конвульсивно трепещут, — и задевают паука, рвут бессильно и в одном месте паутину. Но уже ножка мухи захвачена в петельку. И паук это знает. Крики на погром — риторическая фигура страдания того, кто господин положения.

***

О Розанове как в свое время, так и теперь много писалось и пишется „за" и „против". И что всего характернее, как те, так и другие в своей критике Розанова не дают его какое бы то ни было определение. Кто же Розанов, что он собою представляет, — положительное явление на ниве русской мысли или отрицательное? Вопрос этот элементарный и плосский, ибо даже „злой" гений по внутренней сути своей есть явление положительное,

— ибо гений есть гений, — отмеченная богом особь. Но именно с таким вопросом если не открыто, то „в тайне" подходят к Розанову. И потому теряются в его определении. — „Розанов как будто бы положительное явление" и в то же время он „как будто бы и отрицательное". Отсюда недоношенность всей критической литературы о Розанове.

Все сходятся на том, что Розанов — гениальный публицист, что он обладал даром глубокого аналитика в отношении людей и событий, умел проникать в суть и понимать эту суть, что не было таких вопросов и тем, на которые ни откликался бы Розанов с присущим ему озарением, что влияние Розанова было и остаётся огромным, но, как пишут критики, влияние это малозаметно, ибо „Розанов был растрепанным в своих мыслях" или, как выражался о нем Ив. Солоневич, — „путанным".

Каждый из критикующих Розанова, как бы ни старался быть „объективным", — мысленно, а то и „конкретно" сравнивал его с кем-либо из „больших" писателей, сопоставлял и неизбежно находил из этого сравнения „пороки" Розанова: кто „ложность" его, кто — „бесстыдство", а кто даже и „кощунство". Так, суживая свой подход к Розанову и при этом всегда забывая сугубое своеобразие гениальной даровитости Розанова, которое начисто исключало возможность сравнивать Розанова с кем бы то ни было, господа критики ограничивали

поле своего зрения и видели Розанова лишь в какой то его части или в каких то двух-трех „разрозненных" частях, а не в целом. И фактически не Розанов выходил из под пера этих критиков „растрепанным" и „путанным", а понимание, знание и оценка этого мыслителя получалась у критиков и растрёпанной и путанной.

Розанова надо брать в НЕ-сравнимой его самоцветности и в НЕ-повторимой его индивидуальности. Как человек, да ещё с такой пытливой отзывчивостью буквально на каждую „злобу дня" Розанов мог в суете своей журнальной (ежедневной) работы делать „неувязки", тот или иной „перегиб" или „недогиб", ту или иную крайность или недосказанность, — но не в них, не в этом ворох обыденщины и не в этих мелочах текущей прозы жизни ценен, важен, интересен и значителен Розанов.

Ценен и значителен Розанов полнотою и чистотою своего русского гения. На его миро-ОЩУЩЕНИИ нет даже тени влияния извне. Розанов был настолько силён и сила его гения настолько глубока, что его вернее всего рассматривать, как самородок в его первозданном виде, — как самородок золота, а не как слиток золота. Различные философские системы Розанов знал хорошо, но он был вне их. Эти системы были не в его масштабе, не в его перспективе. Розанов не видел в них „последнего слова", — в них ему не к чему было прислушиваться,

и они проходили мимо, внутренно не задевая и никак не „трансформируя" его. Гений Розанова настолько САМО-цветен и САМО-бытен и в то же время энциклопедичен по своей интуитивной природе, что искать чего-то или каких-то ответов и откровений „на стороне" у него просто не было надобности. В этом смысле Розанов был несомненно феноменальным явлением. И оценивать Розанова по той или иной грани его творческой мысли это значит просто не понимать его, — не видеть его в целом, не чувствовать его всего.

Единственным „сериозным недостатком" Розанова является отсутствие у него „стройно изложенной доктрины", как это принято понимать у „классических" философов и богословов. Этот свой „недостаток" или „упущение" или „пробел" Розанов и не стремился исправить, — он не стремился всё своё собрать во-едино, — своё „учение" уложить в какие то стройные рамки, разбить на отделы, главы и параграфы. Это он считал и смешным и ненужным.

Возможно, что у Розанова не хватало времени, чтобы заняться этим „укладыванием в рамки" длинной цепи своих мыслей, — но возможно и то, что он и не искал, а если и искал, то не находил этих рамок, — таких рамок, в которые улажилась бы его доктрина, как он её понимал, и чтобы её поняли другие.

Но будет время и в этом сомневаться не приходится, когда найдется „исследователь Розанова" — ПОНИМАЮЩИЙ его, который и собирёт мысли Розанова, рассортирует их по их духу и по их прозрениям, как-то систематизирует их, выявит их цельность и ясность и тем оформит розановское учение. Близкие ему по своему душевному настроению и по складу своего умственного характера видели связанность розановских мыслей и их определённость, — определённость его миро-ОЩУЩЕНИЯ и потому не находили в Розанове ни „растрёпанности", ни „путанного".

Автор этих строк и до революции и после неё многократно сталкивался с этими многими БЛИЗКИМИ Розанову и никогда не слышал от них „гнева" на Розанова, недоумения или раздражения. Правда, не было и „осанны", того современного демогагического кликушества вокруг рекламируемых кумиров улицы, которое так всегда отдает дешёвкой. Но было зато главное, НЕ-приемлимое улицей, тем „вонючим разночинцем", который сегодня так ликующе справляет „бал" своей торжествующей пошлости, — было самое главное: — приятие ВНУТРЕННЕЙ преданности Розанова Церкви, Царю и своему Народу Русскому и страха Розанова за судьбу всех их — „взятых в горсть"...

И рассматривал Розанов это триединое начало, специфически РУССКОЕ начало, не с политической

точки зрения партийного порядка. Всякую политику, а партийную в особенности, Розанов презирал, — он рассматривал это начало с государственной, вернее, с религиозно-государственной точки зрения, то есть, проникал в сердцевину существа вопроса. И, так как Розанов был СВОБОДЕН в своей мысли, чист и честен, то вскрывал ПОДЛИННЫЕ ОСНОВЫ НАРОДНОГО ЦВЕТЕНИЯ, извлекая эти основы из под шелухи преходящего. И смеялся над теми „парт-работниками", которые дальше этой шелухи ничего не видели или не смели видеть и которые превращали эту шелуху в фетиши и лозунги своей „борьбы за счастье народное", за „невыразимо прекрасное будущее".

Все это упускается критиками Розанова.

Частые встречи и беседы с Розановым неоднократно убеждали автора этих строк, что Розанова надо или приять положительно или отвергнуть целиком. Рассматривать же — „критиковать" Розанова в плане лишь какой то одной грани его творчества значит спекулировать им, даже больше, — дискредитировать его гениальную даровитость, как большого русского самородка-мыслителя исключительного порядка.

***

Каково значение Розанова для России? Громадно, — и в русской литературе, и в русской истории, и в русской науке. Значение именно ДЛЯ России,

ибо Розанов вложил в сокровищницу русской культуры поистине богатый и диковинный дар глубокой РУССКОЙ мысли.

Наша русская вина в том, что мы очень медленно раскрываем Розанова, не ищем его и подхода к нему, — чтобы ближе, лучше и внимательнее разглядеть его и через него ярче и тверже осветить свой РУССКИЙ путь...

Мы не ставим Розанова в ряд с кем бы то ни было из русских мыслителей, не вплетаем его имя и в жемчужную нить наших славянофилов, полной мерой взвесивших и определивших этот наш русский путь. Розанов по духу своему, по своему душевному настроению и по своим умственным озарениям был очень близок ко всем им и, в частности, особенно к Достоевскому. И входил в плеяду именно этих звезд, но горел Розанов настолько особо и свет его звезды настолько своеобразен и силен, что он невольно выделяется из всех своей феноменальной индивидуальностью, находясь как бы „на отлёте" от них, но крепко и природно пребывая в общей орбите подлинно русской даровитости и подлинно русского мировосприятия, до конца сохранивших свою чистоту — в своей независимости.

Из того немногого, скупого и беглого, что приведено нами РОЗАНОВСКОГО, читатель видит как много у Розанова ПОУЧИТЕЛЬНОГО для всех нас, русских людей, верящих в Россию и любящих её,

религиозно и государственно историческую. Но и правые и левые держали Розанова „за железным занавесом", не давая ему хода в широкие круги русского общества. Правые „вели" себя так потому, что не охватывали его в целом и потому не понимали его, — и потому не видели в Розанове того источника живой воды, который помог бы им лучше ориентироваться в судьбах русской истории и определить полнее дух, объем и направление своей работы.

Розанова читали „как всех читают". Но Розанов не для чтения, а для воспитания — умственного и душевного. ТОЛЬКО читающие Розанова проходили мимо него тепло-прохладными и в русской жизни пропадали для России...

Левые держали и держат Розанова „за железным занавесом" из-за вполне определенной неприязни к нему. Розанов — не их поля ягода. В нём, как и во всём исторически-русском, они усматривали и „выпирали" наружу только одно „тёмное" и „отрицательное" и заведомо малозначущее и совсем НЕ-характерное для Розанова и тут же смаковали всё то „корявое", что так „царапало" в Розанове правых. И представляли его „публике" скорее „своим", чем „чужим". В общем, — буквально сбивали у своих читателей мозги на бекрень.

Левые боялись Розанова, они понимали его русскую громадность, — громадность его автори-

тетной, бесспорной и острой мысли. Они прекрасно сознавали, что широкое раскрытие этой громадности грозило их посягательствам и потому всегда держали и держат Розанова в тени, на отшибе от „ведущей элиты", в нарочитом умалении розановского дарования, розановского значения для России, для борьбы за Россию и не только за нее...

Закончим мы свою книгу выдержкой из статьи Э. Ф. Голлербаха напечатанной в „Летописи Дома литераторов" № 8-9 от 25 февраля 1922 года (Петроград).

Вот что пишет Голлербах:

— „Предсмертные дни В. В. Розанова были сплошной осанной Христу. Телесные муки не могли заглушить в нём радости духовной, — поцелуемся во имя воскресшего Христа. Христос Воскресе! Как радостно, как хорошо!.. Со мной происходят, действительно, чудеса, а что за чудеса, — расскажу потом когда-нибудь"... Перед самой смертью страдания утихли. Он четыре раза причащался по собственному желанию, — один раз соборовался, три раза над ним читали отходную, во время которой он скончался без мучений, спокойно и благостно" —

22 января по ст. стилю, в час дня, 1919 года, в Сергиевом Посаде, — под Москвой,